

Анастасия Вербицкая

Ключи счастья. Том 2



Анастасия Алексеевна Вербицкая

Ключи счастья. Том 2

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8985928

Аннотация

«Каждый день, в семь часов вечера, Маня выходит из трамвая, соединяющего предместье, где она живет, с Парижем. Торопливо идет она по линии бульваров на урок к Изе Хименес.

Огненными линиями в туман и сумерки огромного города врываються нарядные бульвары с оголенными платанами, с сияющими окнами бесчисленных кафе, с суетливой, праздной и жизнерадостной толпой...»

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Книга четвертая | 4 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 150 |

Анастасия Вербицкая

Ключи счастья. Том 2

Роман-дайджест

*Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня.
И все выше я шел. И дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня...*

К. Бальмонт

Книга четвертая

Каждый день, в семь часов вечера, Маня выходит из трамвая, соединяющего предместье, где она живет, с Парижем. Торопливо идет она по линии бульваров на урок к Изе Хименес.

Огненными линиями в туман и сумерки огромного города врываются нарядные бульвары с оголенными платанами, с сияющими окнами бесчисленных кафе, с суетливой, праздной и жизнерадостной толпой.

Бегут отовсюду, сливаясь в страстном стремлении к отдыху и радости, целые волны рабочего люда. Улицы черны от мужских пальто. Приветливо улыбаясь навстречу хищ-

ным взглядам фланеров, грациозной походкой идут модистки, приказчицы, белошвейки, барышни-манекены. Они одеты скромно, но со вкусом. Бледные губы жадно ловят воздух, которого недостает им целый день в магазинах и мастерских, отравленных газом и дыханием толпы. Глаза искрятся. Они ждут. Чего? Случая, счастья... Кто знает? Может быть, сейчас, за этим поворотом, это счастье встретит их? Не одна только чувственность сблизит двух людей, жаждущих забвения? Кто поручится, что не свершится чудо, и что из этих объятий не родится Любовь? Та, о которой грезят все женщины, от королевы до судомойки, и без которой жизнь не имеет цены?

Маня быстро идет среди этого огня перекрестных взглядов и улыбок, одинаково чуждая наивным мечтаниям одних и жадным желаниям других, равнодушная к любопытству и восхищению.

Вон вдали дом, где живет Иза. Маня замедляет шаги. У подъезда она останавливается и смотрит вверх. Небо словно озарено пожаром. Ни одной звезды. Гул кипучей жизни остался позади, на линии бульваров. Здесь, в переулке, тихо. И в этой тишине еще отчетливее доносится до нее громкое дыхание страшного зверя – толпы.

И сердце Мани дает толчок. Вызов загорается в груди.

Кто осилит в этом поединке? Сумеет ли она укротить зверя? Сможет ли она победить Жизнь и самую грозную из ее сил – Любовь? Или тяжелое колесо проедет по ее повергну-

той душе, губя ее, как тысячи других?

«Увидим... Увидим! Уже скоро...»

Ей отворяет дверь негритянка, безобразная Мими.

Маня любит ее добрую улыбку, оскал ее сияющих зубов. Она похожа на животное, эта непосредственная дикарка с ее загадочной моралью, с ее таинственной для европейского человека душой.

Два спаниеля с белой шелковистой шерстью лают звонко и оглушительно. Какаду сердито кричит что-то по-испански.

Маня идет в салон с золотистой мебелью, пыльными венками и зеркальными стенами. Спаниели трутся у ее ног. Какаду кивает ей белым хохлом и приветливо воркует.

Входит Иза.

Эта женщина нравится Мане. Вся она похожа на восточную сказку. На мизинце у нее дивный рубин, который кажется каплей крови днем, а вечером горит, как раскаленный уголь. Огромные кольца-серьги качаются при каждом ее движении. Звенят браслеты на смуглых руках. Но ярче золота и камней кажется Мане ее улыбка и блеск черных глаз...

По праздникам Марк приезжает в автомобиле за Маней, фрау Кеслер и Ниночкой. Он увозит их всех к себе на целый день. Все трое любят эти часы. Дом его так красив. Обед так вкусен. «Пир Лукулла», смеются гости, наголодавшись за неделю. Мясо они редко едят теперь. Только овощи. Одна Ниночка не знает лишений. Но Марк не должен об этом

догадываться. Именно он – никогда!

Шумом и смехом наполняется старый, дремлющий особняк. И тени былого просыпаются, прислушиваются с изумлением к звукам чуждой жизни. И тихо выходят из своих углов.

Буквально так и было в одно прекрасное и теплое ноябрьское утро. Они только что приехали и внизу, в столовой, снимали шляпы перед старыми, тусклыми зеркалами XVIII столетия. Ниночка звонко смеялась, сидя на полу. Она вцепилась в сенбернара, который обнюхивал ее личико и размашисто вилял хвостом. Бледное солнце заливало палисадник и заглохший фонтан.

Вдруг Ниночка закричала, и все оглянулись.

В дверях гостиной стоял призрак Штейнбаха. Высокая фигура с согнувшимися плечами не двигалась. Седые волосы из-под черной шапочки выбились на лоб. Таинственные глаза, без дна и блеска, глядели в лица живых странным, далеким и враждебным взглядом.

Вдруг этот взгляд упал на Ниночку, и дрогнуло бледное лицо. В ту же минуту вошел запоздавший Штейнбах.

– Ниночка, мой ангел... Почему она плачет?

Он схватил девочку на руки. Она дрожала и прятала личико на его груди. Штейнбах оглянулся и понял.

– Дядя, войди! Не бойся. Это мои друзья. Фрау Кеслер, это единственный близкий мне человек. Он вчера только вернулся из России с Андреем. Мы будем жить вместе.

Призрак медленно покачал головой и отступил с порога. Но его темный взгляд остановился на лице Мани. И словно холодом повеяло в ее сердце.

Он скрылся.

– Почему ты так бледна? – спросил Штейнбах. – Неужели боишься?

Она молчала.

– Теперь ты разлюбишь этот дом, Манечка?

– Нет, нет, Марк. Мне вспомнилось... Пустяки! Давай обедать скорее.

Он входил всегда неожиданно и бесшумно в комнату, где звенел смех Ниночки. И глядел на нее молча. Его как будто влекла к себе эта молодая жизнь, похожая на лепечущую березку. Сначала ничего кроме безграничного удивления не выражал этот далекий взор. Мысль, заблудившаяся в таинственных полях бессознательного, как будто искала дорогу ощупью в сумерках.

Настал день, когда Маня увидала жгучую скорбь в этом взгляде. Он долго смотрел на ребенка. Закрыв лицо руками, вдруг застонал.

И вот однажды словно улыбка прошла по восковому лицу. Тоска не исчезла, но смягчилась. Он взглянул на Маню. И все с удивлением расслышали: «Сарра...»

Он опять ушел. Но на пороге оглянулся на Маню.

Словно позвал...

– Какая Сарра? – спросила фрау Кеслер. Она говорила шепотом, хотя все видели, как старик прошел под окнами, мимо фонтана, опираясь на палку. И исчез на мшистых дорожках сада, где умирали опавшие листья.

– Он вспомнил свою погибшую дочь.

– Разве я похожа на нее, Марк? – спросила Маня. И глаза у нее стали большими и тревожными.

– Н-не знаю. Трудно разобраться во мраке больной души.

Рядом с желтым салоном Изы Хименес находится класс. Это пустая комната с зеркальной стеной, без ковра и мебели, с одним пианино. А за нею уборная. Стены ее увешаны газовыми голубыми юбочками и трико телесного цвета. Под каждой на гвозде номерок. Это традиционный балетный костюм, с открытым плоским лифом, – костюм, обнажающий ученицу. Учитель должен с одного взгляда видеть все контуры и все изгибы тела: ногу, начиная от бедра, колени, ступню, руки, плечи. Здесь нет мелочей. Важно каждое движение мускулов, каждое напряжение мышцы. Все должно быть естественным, все должно казаться легким. В этом грация и красота танца.

Классом балетной гимнастики, то есть самыми трудными первыми шагами, начиная с «позиций», столь же скучными, но необходимыми, как гаммы для пианиста и вокализы для певца, руководит госпожа Фредо.

Маня быстро и легко справляется со всеми трудностями

первых шагов, почти непреодолимыми для многих взрослых. «У нее уже сейчас есть пальцы», – с удивлением говорит Иза своей помощнице на балетном языке. Это значит, что Маня может свободно стоять на носке. Из сорока учениц школы у нее одной этот дар, такой же редкий, как поставленный от природы голос у певца. Многие ученицы тяготятся этой балетной гимнастикой. Но для Мани важно все.

Чувствуется, что танец ее стихия, что для нее в этой сфере нет ничего недостижимого.

За полгода она настолько осваивается со сложными движениями, из которых комбинируются танцы, со всеми этими *jeté*, *glissé*, *chassé*, *balancé*, *pirouette*¹ и так далее, что Иза разрешает ей заниматься этим только дома. Маня работает часа по четыре, иногда до изнеможения.

– Ты наживешь болезнь сердца, – говорит фрау Кеслер, когда Маня, вся бледная, падает на постель. – Чего ради так убиваться?

– Хочу быть артисткой, а не дилетанткой. Это не даст мне удовлетворения.

– А Дункан? А Иза? Чему они учились?

– Дункан гениальна, а Иза – громадный талант. Но она мне признавалась, она всегда жалела о том, что с детства не прошла классической французской школы. А помнишь, как Дункан выворачивает руки? Глядеть на нее страшно! Это нарушает законы пластики. То, над чем я бьюсь, Агата, это

¹ Название элементов танца (*франц.*).

базис всего. Нельзя стать пианистом, не изучив гармонии, или написать оперу, не зная контрапункта. Так и здесь. Вот я недавно от Марка услышала, что все эти трудности, над которыми мы бьемся, были знакомы танцовщицам еще в Греции.

— Да быть не может!

— Есть целое исследование об этом. Чего же ты удивляешься, Агата? Если для такого ремесла, как проституция, на Востоке готовили с семилетнего возраста и нужно было пройти целую школу, неужели такое искусство как танец, требовало меньше знания и труда?

Из сорока учениц у Изы больше половины взрослых. Все они приезжают в своих автомобилях или в собственных экипажах Бедных, как Маня, очень немного.

Богатые девушки в кружевах и шелках, переодеваясь в уборной, щеголяют друг перед другом роскошью нижних юбок и белья. Маня подмечает усмешки, с которыми они оглядывают ее скромный костюм. Но Маня держится, как принцесса.

Отношение к ней меняется внезапно через какой-нибудь месяц.

Штейнбах заехал за нею в своем автомобиле. Его сразу узнают. Все видят, как он смиренно ждет Маню на лестнице и какой гневный взор кидает она ему, отказываясь ехать. На улице она говорит с ним резко и гордо.

Французские еврейки, знающие по-русски, божатся по-

том, что они говорили на «ты».

Маня так и не поехала со Штейнбахом и пошла пешком к трамваю... «Какова?!»

Когда на другой день Маня входит в уборную, все смолкают и глядят на нее большими глазами. Почему на ней нет бриллиантов? Почему она одевается так просто? Зачем она живет в предместье, а не в доме Штейнбаха? Ведь она несомненно его любовница.

– Невеста его, – таинственно сообщает госпожа Фредо. И ропот удивления встречает эту весть.

Теперь Маня могла бы ходить в рваной юбке и дырявых башмаках. Ей простили бы все.

– Приходите завтра вечером, – говорит Иза Мане. – У меня класс пантомимы, и вы увидите Нильса.

Это имя у всех на устах. О нем никто не говорит равнодушно. Маня заинтересована.

– Только сердце свое берегите! – смеется креолка, качая головой и грозя пальцем. И серьги ее тоже качаются, а браслеты звенят.

На другой день, ровно в шесть, Маня подымается по лестнице. Еще за дверью она слышит задорные звуки фанданго. «Неужели опоздала? Ах, что за музыка!»

Она быстро раздевается в передней. Сухое, страстное трещанье кастаньет словно манит ее.

О, какие знойные звуки! Прямо жгут.

Она пробирается через толпу учениц, стоящую у входа в класс.

Вот Иза увидела ее. Кивнула и хлопнула в ладоши аккомпаниатору.

– Начинайте сначала. Нильс, на место! Мод, ваша шаль развязалась.

Нильс – «испанец» со смуглым бритым лицом – оглядывается и видит Маню. А! Вот она! Он тоже много слышал о ней. Он улыбается. И словно светлеет его лицо от сверкнувших зубов. Он издала раскланивается. Какой пластичный жест!

«Красавец! – думает Маня, глядя на этот энергичный профиль. – Неужели русский? И что за ноги, фигура!»

Мод – американка. Это эффектная брюнетка, и костюм ей идет. Нильс выше среднего роста. Короткие суконные штаны открывают мускулистые длинные ноги. Широкий пунцовый пояс охватывает гибкий стан. На голове красный шелковый платок. Конец его свисает на плечо.

Они пляшут. Трещат кастаньеты. И сердце Мани бьется. Можно ли плясать картиннее? А главное, с большей страстью и блеском?

«Я безумно влюблена, – говорит себе Маня. – Неужели и я когда-нибудь буду танцевать с ним этот танец? Вот будет наслаждение!»

Урок кончился, а она все еще грезит с открытыми глазами.

Зароились образы. Наметились позы. Целая драма без

слов пронеслась в голове...

Как во сне выходит Маня из класса.

Иза подходит к ней.

– Ну как? Хорош мой Нильс? Тоже русский... Да... это моя слава. Я учу его бесплатно. Он кончает в этом году. И в Париже его уже знают. Хотите, я познакомлю вас?

– Нет... Нет!.. Не надо!.. В другой раз. Но в коридоре она сталкивается с ним.

Он что-то говорит, небрежно прислонясь к стене. Перед ним хрупкая блондиночка, скромно одетая, как модистка. Она смотрит на него влюбленными глазами и заботливо расправляет складку на его поясе.

– А ты скоро? – по-русски спрашивает она детским, звонким голоском.

– Если хочешь, чтоб мы вышли вместе, подожди меня, Милочка. Только оденься, а то простудишься.

Он видит Маню и смолкает.

Она проходит мимо, не сводя с него глаз. И в этих темных, огромных глазах он видит столько горячего, непосредственного восторга.

Лицо его дрогнуло. Он робко кланяется Мане. Она, краснея, опускает голову. Потемневшими глазами глядит он ей вслед.

За дверью Маня слышит ревнивый вопрос блондинки:
«Кто это? Новенькая? Вы незнакомы?»

Всю ночь она видит во сне его лицо. Звук кастаньет пре-

следует ее даже наяву.

Каждый раз, когда Нильс выступает в характерных танцах или танцует в па де труа и па де катр, Маня приходит, чтоб глядеть на него.

И в школе все уверены, что она тоже влюблена в Нильс а. И это правда. Она и не хочет лицемерить с собой. Но это чувство ее не пугает. Оно дает ей столько радости! Так много красок вносит в ее однообразную жизнь. Она заметила, что лучшие темы ее будущих танцев рождаются, когда он пляшет, а она смотрит на него, умиленная, благодарная.

Через три месяца ученья Маня оказывается мотыльком среди жуков, медленно расправляющих тяжелые крылья. Сразу между нею и другими учениками устанавливаются отношения толпы и таланта. И теперь Маня не может удержать злорадного чувства. Она презирает себя. Но стать выше этого не может. «Это восходящая звезда», – говорит Из а. «Это будущая знаменитость», – твердит г-жа Фредо...

На уроках у Штейнбаха он аккомпанирует всегда сам. Иза обращает на него столько же внимания, сколько на охотников, трубящих в рога на старом гобелене. Она раздражительна, капризна, требовательна. Не стесняясь, кричит она на Маню.

– Бестолковая... Дура... Настоящая русская дура! Сколько раз я показывала тебе этот жест! Забыла опять? Начинай сначала.

Штейнбах еле удерживается от смеха. А потом изображает эту сцену, искусно копируя голос и акцент креолки.

– Какое странное имя «Мань-я!» – замечает однажды Иза за завтраком у Штейнбаха. – Я буду звать тебя Marie...

– Нет! Нет! – страстно срывается у Мани. Она встречает взгляд Штейнбаха, и лицо ее загорается.

– Почему нет? Какая ты странная!

«Только один человек в мире мог называть меня Мари», – думает Маня.

И Штейнбах видит, какая нежность согревает вдруг ее лицо. «Улыбнулась. Точно Ниночку увидала. Неужели не разлюбила Нелидова?»

– Зови меня Marion, Иза. Я сама не люблю моего имени.

Случается, что, заезжая за Маней, Штейнбах предлагает фрау Кеслер завтрак. Они берут Ниночку. Штейнбах это делает нарочно, чтоб у Мани не было предлога спешить домой. Через запертую дверь фрау Кеслер слышит гневные окрики Изы. «Удивительно! – думает она. – Почему Маня не обижается?»

Этот вопрос она задает самой Мане.

– Пусть кричит! Пусть бранится! – отвечает та. – Разве не руководит ею только любовь? Великая любовь к искусству?

Иногда Иза топает ногами. Маня вдруг со звонким смехом кидается ей на грудь, и через секунду обе они смеются, как дети.

«Две сумасшедшие, – ворчит фрау Кеслер. – А попробуй-ка это сделать кто-нибудь из нас!»

День Мани так полон теперь, что для любви ничего уже не остается. Но Штейнбах не ропщет. Разве не принадлежит она ему всецело? Ему одному? Даже тень соперника не скользит на его горизонте. Страшен один Нелидов. Но ведь и там все кончено. И даже если когда-нибудь состоится эта встреча, Маня тогда будет женою его, Штейнбаха.

Не в этом гарантия, конечно. Он слишком умен, чтоб доверять женщине. Особенно женщине, живущей чувством. Но сам Нелидов своей женитьбой создал непроходимую пропасть между собой и Маней. Люди такого закала не изменяют долгу. «Лишь бы она никогда не узнала, что он был в Венеции!» – говорит себе Штейнбах.

Иногда – очень редко – Маня вдруг подходит к нему, бледная, растерянная, с потемневшими глазами. «Поцелуй меня!» – глухо говорит она. И закрывает глаза, с выражением человека, побежденного какой-то внешней силой, уступающего чему-то, что выше его.

И лицо у нее тогда трагическое. И темна тогда ее любовь. Долго потом Штейнбах переживает в памяти эти минуты. Эти порывы прекрасны. Есть что-то стихийное в страсти этой женщины. Какая-то жуткая тайна глядит на него из полужакрытых глаз ее.

И никогда он не может забыть ее улыбки. Это блаженство,

граничащее со страданием. Она искажает ее черты. И в то же время странно одухотворяет бледное лицо. Невольно верится, что это покорность побежденного в непосильной борьбе.

Но эти минуты проходят. И перед Штейнбахом опять далекий взгляд, насмешливые уста.

Она равнодушно прощается с ним, дает себя поцеловать и торопливо идет к двери. Она еще на пороге этой комнаты. Но душа полна иным. У нее свои интересы. Своя жизнь.

И если он пробует удержать ее, он чувствует отпор. Даже неприязнь. Точно она сдалась врагу и презирает себя за эту слабость. «Совсем как мужчина», – горько думает он.

Один раз он не утерпел и высказал ей это. Она усмехнулась.

– Ты меня радуешь, Марк. Я хотела бы всегда любить, как любите вы.

– Я?

– Ну да. И ты не лучше других.

Заметив странный излом его дрогнувших бровей, она добавляет:

– И поверь, Марк, теперь (она подчеркивает это слово) я тебе это ставлю в заслугу.

– Я очень тронут, – подхватывает он, кривя губы. – Только я не совсем понял, в чем моя заслуга?

– Уметь любить без драм. Легко и радостно.

– А!

– Вы, мужчины, взяли ключи счастья. И давно и просто

разрешили задачу, над которой мы, женщины, бьемся. Но погодите... И мы добудем их!

— A la bonne beure!²

Он распахнул перед нею дверь. Она ушла. А он остался со своими думами.

Нет, даже в эти минуты он не может назвать ее своею вполне. Власть его над нею еще не исчезла. Но он инстинктом чувствует ее упорное стремление освободиться, ускользнуть. Куда? Зачем? Разве знает он ее, эту новую Маню? Ведь это уже не та безвольная перед его страстью, трепещущая девочка, которая любила его в Липовке, в стенах молчаливого палаца? Даже в этом таинственном мире чувственных радостей, где он вел ее за собою, ослепшую и покорную, она царит теперь. Не он, она дарит свою ласку. А он ждет, как раб, когда взгляд ее упадет на него.

Но разве завтра этот взгляд не позовет другого?

Что тогда? «Все будет кончено, — говорит он себе. — Останется только смерть...

Любить легко и радостно. Какая ирония! Но Маня, очевидно, искренно верит, что он умеет так любить. Она не простила ему рыжей венецианки. Она до сих пор убеждена, что он с ней провел ту ночь, когда он вышел встретить Нелидова на вокзале Венеции и в этом безмолвном поединке вырвал у него свое счастье. Но душа Мани словно переродилась с тех пор. Умерла доверчивая девочка. А теперь это женщина, ко-

² В добрый час! (франц.)

торая хочет смеяться над иллюзиями и брать от любви одно наслаждение, не жертвуя ей ничем. Это программа, которую она себе наметила. Хватит ли у нее на это сил?

Это трагическая борьба, – думает он. – Можно создать себе новое мирозерцание, проповедовать свободу любви и свободу от любви. Можно страстно верить в этот новый догмат. Можно дерзко бросать вызов судьбе. И считать себя новой женщиной. Но что делать со старыми чувствами, воспитанными веками? Что делать с инстинктом Женственности? С этим роковым инстинктом, дремлющим в самых сокровенных глубинах женского организма, за темным порогом, куда не проникает мысль? Что делать с этой потребностью покоряться и жертвовать, которую тысячелетия подчинения развили в женской психике?

Освободить душу свою из-под ига страсти. Наполнить ее великим стремлением к высокой цели, беря любовь, как отдых, как радость, поставить эту любовь в своей жизни на второе место. Вот в чем ключи счастья, которые обещал Ян женщине.

Но разве одной женщине должен был он оставить свой великий завет? Разве для меня самого любовь – не та же драма? Разве не поставил и я ее в центре моей жизни? Разве для меня она не культ?

„У тебя женственная душа“, – не раз говорила мне Маня. Не в этом ли тайна моей собственной слабости?

И если я потеряю Маню теперь...»

А пока он делает все, чтоб привязать к себе Маню, чтоб стать ей необходимым.

В Венеции, угадав ее страсть к искусству, он читал ей лекции о живописи. Теперь он изучает с нею историю танца. И эти часы она любит. Она готова целые вечера лежать у камина, на тигровой шкуре, и, глядя в огонь, слушать о седой древности.

...Танцы стары, как любовь. Это сказал еще Лукиан, живший при Августине. Раньше всего ребенок, еще не понимающий слов, начинает чувствовать ритм в качании колыбели, в песне матери.

– Золотой век танца, – говорит Штейнбах, беззвучно шагая по ковру, – настал только в Элладe.

Именно здесь, под ясным небом Эллады, в благодатном климате страны, где человеческое тело сделалось высшим идеалом красоты, где сами боги, утратив песьи и птичьи головы и таинственное обличье египетских божеств, стали людьми в мраморе, – в Греции, где так расцвело пластическое искусство, – танец мог достигнуть наивысшего развития. И как тесно связан он с другими искусствами – с поэзией и музыкой! Не из созерцания ли божественно прекрасных линий тела, его выразительных поз, его грациозных движений возникла скульптура? Из священных танцев в честь Диониса родилась трагедия.

– Обрати, Маня, внимание на эволюцию танца! Красной

нитью через всю историю его развития, начиная с древнейших времен и средневековья и кончая Ренессансом и нашими днями, проходит главная идея. Сначала это религиозный ритуал. Затем забава аристократии. Наконец это радость народа!

– Неужели? – спрашивает Маня, садясь на ковре и обхватывая колени. Ее лицо странно оживляется.

Штейнбах открывает еще одну страницу старинной французской книги.

– Вот выдержка из Лукиана. Ты видишь, какие высокие требования римское общество предъявляло к артистам. Лукиан пишет: «Танцовщик должен знать ритм и музыку, чтоб давать размер своим движениям; геометрию, чтоб чертить на земле свои шаги; философию и риторику, чтоб изображать нравы и возбуждать страсти; живопись и скульптуру, чтоб сочинять позы и группы. Он должен в совершенстве знать мифологию и историю, все события хаоса и сотворения мира до наших дней».

Он закрывает книгу и смотрит на Маню. Та звонко хохочет.

– Марк, лучше б ты мне не читал этого. Ведь ты меня убил.

– Напротив. Я хочу поднять твой дух. Не верь тем, кто считает танец детской забавой. Только невежды могут говорить так. Вспомни помпейские фрески! Эти воздушные фигуры и неподражаемую грацию их. И ты поймешь, что Лукиан писал, не преувеличивая.

– Поди сюда, Марк! Покажи, что это за книга у тебя? 1460 год? Вот прелесть! И какой шрифт необыкновенный... Крупный какой! «L'histoire de la danse» Антуана Табуро, канонника³, – читает она вслух. – Духовное лицо, Марк? Что это значит? И где ты достал эту прелесть?

– Здесь, у букинистов. А вот еще ценная вещь: я перерыл все лавки, чтобы найти эту библиографическую редкость...

– Что такое, Марк? Рисунки?

– Каждая страница выгравирована на стальных досках. Видишь, какой шрифт? Это издано в Париже, в 1765 году. Автор Блази. Он был первым теоретиком механики движений. И первым настоящим хореографом. Мы эту книгу подробно рассмотрим потом. А теперь вернемся к римлянам.

– Ах, как это интересно! Мы все это прочтем, Марк?

– Непременно, Маня.

Пока Штейнбах аккуратно прячет эти сокровища в шкафчик «ампир», Маня опять ложится ничком. Она смотрит в камин, облокотясь о пол и подперев голову руками.

– Почему ты все это купил и все изучаешь так добросовестно?

– Странная женщина! Разве ты не будешь танцовщицей? На всех путях жизни я хочу быть рядом с тобой.

Ресницы ее вздрагивают. Она все так же пристально смотрит в огонь, не меняя позы. Но он чувствует, что она обдумывает эти поразившие ее слова.

³ «История танца» (франц.).

– Марья Сергеевна...

– Нет... нет... Ради Бога!.. Для вас... и для всех я только Marion.

– Marion... Чудная, божественная Marion... Вы с ума меня сводите!

Он говорит ей это, стоя с нею в полусветлом коридоре, близ класса, улучив минутку перерыва.

Лихачев и Маня оба в испанских костюмах. Под гримом и в этом туалете Маня красавица. Неправильность черт ее забывается, когда видишь эти громадные удлинённые глаза и сверкающую улыбку. Лихачев тоже удивительно эффектен. И костюм он умеет носить. В глазах Мани все еще не угас восторг, какой она испытывает, танцуя с ним.

– Как вы плясали сейчас, Marion! Я безумно влюблен в вас. Вот вы опять смеетесь?

– Да... Мне всегда весело, когда вы говорите о любви.

– Жестокая! Неужели вам приятно меня мучить? Маня звонко смеется.

– Мучить вас? Ах, милый Нильс! Бросьте жалкие слова. Ей Богу, это не из вашего амплуа. Как я завидую вашей ясной душе!

– Да вы прямо смеетесь надо мною! Моя душа раскололась пополам. Я ночей не сплю. Зачем вчера вы дразнили меня?

– Я? Вас?

– Зачем вчера в танце, когда я шепнул вам «Люблю», вы

ответили: «Я тоже»? Вы играете мною?

– Ничуть... Я и люблю вас, но только там, на сцене, вот в этом костюме...

– Не все ли равно? Ведь это я.

– Нет, не вы! Не вы. Это другой. Неужели вы не понимаете, что жизнь одно, сцена другое?

Лихачев хрустит пальцами. Обхватил бы ее сейчас и зацеловал бы! Змея... Так и скользит между пальцев!

Кивнув головой Нильсу, она идет переодеваться. Классы кончены.

На улице Лихачев догоняет Маню. Она оглядывается, и в лице ее разочарование.

– Неужели вы не видите, что я страдаю? – говорит он ей капризным тоном человека, не привыкшего встречать отпор.

Она грустно улыбается. О нем ли грезит она весь этот месяц, обдумывая детали пантомимы, в которой публично выступит скоро? Выступит в первый раз.

Нет, нет. Далек и ненужен ей этот Лихачев, который шагает вот тут, рядом с нею, унылый и смешной в своем старомодном пальто. Она думает о красавце испанце, который занят с нею в пантомиме и преследует ее своей любовью. Его глаза, его губы, его движения чаруют и вдохновляют ее. Она любит этого испанца.

– Не сердитесь, милый Нильс. Сцена и успех залечат все ваши раны.

– Я буду думать о вас всю ночь, целовать вас буду во сне!

– Я тоже...

– Вот видите, видите... Это не называется дразнить? Вы безжалостная кокетка!

– Неправда, Нильс! Вы не умеете ценить моей искренности. Вас любит артистка, а не женщина. Вы мое вдохновение... Моя радость... Неужели вам этого мало? Сейчас вот я сяду в трамвай, закрою глаза и всю долгую дорогу буду видеть ваше лицо под гримом, ваши глаза, ваши жесты. Поймите! Не перебивайте. Я лягу в постель и буду обдумывать... Благоговейно, слышите ли? Благоговейно буду обдумывать мою роль. Все ли я верно поняла? Все ли я сумела передать? По-моему, нынче вкралась какая-то дисгармония. Вы что-то упустили, а может, и я. Это надо обдумать...

– Все возможно. Я голову теряю... Я могу провалить роль...

– Молчите, Нильс! Не терять должно искусство от всего, что мы переживаем, а выигрывать. Иначе мы с вами не артисты, а дилетанты. И потом вы ошибаетесь. Или я знаю вас лучше, чем вы себя знаете? Сцена ваша стихия. Вы счастливее и сильнее меня. И в своем чувстве ко мне вы тоже заблуждаетесь. Вы любите вашу жену – как женщину... А меня... замолчите!.. Я знаю... А меня – как красоту... как вдохновение... Вот почему я радостно смеюсь, когда вы говорите мне о любви. Я горжусь этим. Я счастлива. Вот и мой трам... До свидания, Нильс! До завтра...

Он смотрит ей вслед потемневшими глазами. Каким го-

лосом она сказала сейчас это «до свидания!» Точно влюбленная, которая не дожидется поцелуя. Это не игра. Так не задрожит нарочно голос. Но что же тогда? Что?

В большом и уютном номере Лоскутной гостиницы Катя сидит за остывшим самоваром. Перед ней опустевшая коробка конфет. Она пробует последние, откусывает по кусочку и смакует начинку. «Надо нынче опять купить. Только уж в другой кондитерской», – думает она, делая гримаску.

В дверь стучат, и тотчас входит Нелидов.

Она бежит навстречу.

– Не простудись, Катя. Я разденусь. Очень морозно.

– Пустяки. От кого письмо?..

– От мамá... Ты ничего не имеешь против того, чтоб дома встретить Новый год? Мама тоскует. И одной ей тяжело вести хозяйство.

– Конечно, Николенька! Поедем хоть завтра.

– А ты не соскучишься? – робко спрашивает он.

– С тобою? – вскрикивает она.

Крепко прижавшись к нему, она, как кошечка, трется о его плечо щекой. Ее опьяняет запах его одежды, запах его бороды и кожи.

– Хоть на край света с тобою, Николенька! – страстно шепчет она. И в ее влажных глазах он видит беззаветную, молодую страсть.

Разве это не то, чего искал он? Разве это не все, что нужно

ему?

Вот они дома наконец, после трех месяцев мытарств по столицам.

Анна Львовна поправилась, ходит с костылем. От хозяйства не отказывается.

— Я буду помогать вам.

Старуха снисходительно треплет невестку по смуглой щеке.

— Где тебе, такой... птичке... Поживи без забот. Все придет в свое время.

Нелидов с недоумением бродит по комнатам. Отчего это потолки словно ниже стали?

В столовой он останавливается и смотрит в окно на сугробы снега. Все дорожки в парке занесены. Расчистили только главную аллею к их приезду.

Почему стремился он сюда так страстно? Что ждал он найти в этих старых стенах?

В кабинете он стоит долго, озираясь по сторонам. Его губы тесно сжаты. И сдвинулись вплотную темные брови.

Он запирает дверь на задвижку и садится в кресло, у письменного стола.

Наконец! Наконец один!

После трех месяцев жизни с глазу на глаз — какая отрада! Не делать веселого лица. Не говорить ненужных слов. Молчать с угрюмыми глазами, которые все еще глядят в про-

шное. Не уверять в любви, когда погасла чувственность, а душа беззвучна.

Годом показались ему эти три месяца. Мог ли он думать, что сам пристрастится к театрам и концертам? Что он охотно будет ездить в кинематограф, который Катя любит, как дитя? Мог ли он думать, что в нем проснется стремление быть на людях, в толпе? Не люди нужны ему, а одиночество. И, как это ни странно, его дает только толпа. Там можно молчать. Лишь изредка перекидываться беглыми, ни к чему не обязывающими фразами... Можно даже не вслушиваться в вопросы.

Говорить с ней? О чем можно говорить с птичкой, которая звонко щебечет и греется в лучах солнца? Приятно слышать ее песенку. Юностью веет от этого личика. Свежестью пахнет от смуглого тела. И он его целует ночью. Но разве это не все, что нужно птичке?

Любит ли он ее? Конечно... Она дала ему целый месяц забвения. Она одарила его чувственными наслаждениями. И не скоро еще будет он сыт ее ласками.

Наконец, его трогает ее любовь. Так доверчиво льнет она к его груди. И он должен... он всегда должен думать о счастье Кати! Разве не взял он на себя этого обязательства? Разве нет в его сердце благодарности за все, что эта смуглая девочка беззаветно бросила ему под ноги?

Обидеть этого ребенка? Сделать больно птичке? Нет, нет... Никогда!

Он тоскливо озирается. Темнеет в комнате. Крепнет мороз за окнами. Трещат тихонько старые стены. Шуршат и шепчут что-то обои.

Нет! Не надо слушать. Не надо вспоминать! Мечты не сбылись. Сильные умеют их забыть. Вот за этим столом он писал *ей* свое последнее письмо. Вот на этот стол упал он тогда головою. И плакал, первый раз в жизни плакал, как мальчик. О чем? Разве одна, в конце концов, не сможет заменить другую? Кто сказал, что любовь одолеет силу жизни, силу привычек, силу пошлости?

И вдруг стены исчезают.

...Тихо лепечут над ними липы беседки. Тихо светлеет предрассветное небо. В эту ночь в его душу впервые постучались Любовь и Нежность. Они вошли тогда, обнявшись, как сестры. И он понял все, что было. И все что будет. Как будто кто-то на ухо шепнул ему. И он ответил: «Да...»

Они прощаются. Как призрак, белеет у входа в беседку молодая березка. Она задевает росистой веткой их лица. Он просит Маню быть его женой. Она молчит. Он спрашивает ее о Яне. Она опять молчит. Она не хочет сказать, чем больна ее мать, И вдруг тщета всех его усилий, тщета его опасений и борьбы встает в его сознании. И он говорит ей с холодным отчаянием:

«Да, в сущности, это все равно! Ни ты, ни я не можем ничего изменить в нашей судьбе. И свершится то, что написано в ее книге...»

И еще он сказал ей тогда: «Я знаю, я чувствую, что ты будешь моей гибелью...»

И вот в тот день, когда он писал ей у этого стола свое последнее письмо, отчего рыдал он? Не почувствовал ли он в ту минуту холод и молчание Вечности? Не увидел ли он тогда очами души черную яму, внезапно возникшую на пути его жизни, по которому он шел так гордо и смело, полный веры в себя?

– Николенька, отвори! Ты заперся, Николенька!

Он вскакивает и хватается за голову. Забыть! Все забыть.

Он отодвигает задвижку.

Катя обхватывает руками его шею.

– Николенька... Я соскучилась... Мамап зовет обедать.

На этот раз он сам крепко прижимает ее к груди.

Вот она Любовь, которую он звал. Что нужно еще? Красота, юность, здоровье, желанья – все держит он тут, в своих руках. Боль пройдет. Прошлое забудется. Жизнь сильнее Мечты. Разве сильные оглядываются? Вперед идут они. Без колебаний. Только глядят вдаль – на намеченные цели. И достигают всего.

– Катя! – как-то болезненно срывается у него. И он припадает к ее полуоткрытым от удивления и радости губам.

Как-то раз Иза заболела инфлуэнзой и долго не решалась выходить. Маня должна была все уроки брать в школе.

– Я пришла, – сказала она, – но с условием... Собачки и

какаду изгоняются на время. Я их не должна слышать.

– Дерзкая! – сверкнув глазами, бросила ей креолка.

Никогда потом Маня не могла забыть этого вечера. С глазу на глаз остались две артистки. Никто не стоял между этими близкими душами. Ничто не нарушало настроения. Жесты были свободны, мимика богата и естественна. Каждое душевное движение легко и просто облекалось в изящные и благородные формы. Они обе так увлеклись работой, что не заметили, как наступила ночь.

– Мы с ума сошли! – сказала Маня – Как я вернусь домой?

– Оставайся у меня.

– О, что ты? Агата полицию подымет на ноги. Она всегда предсказывает, что меня убьют апаши. Как будто наше Нейи не заселено чиновниками и бедняками! Я позвоню Штейнбаху.

Когда он вез ее домой, его поразило выражение ее лица.

На другой день Маня сказала ему.

– Буду брать теперь все уроки у Изы. Мне это удобнее.

Он молчал. Не смел ни спрашивать, ни выяснять. Но сердце его сжалось. Она уходила от него все дальше.

– Пожалуйста, распоряжайся своим вечером, – через неделю заявила она ему. – Не жди моего звонка. Я могу вернуться на трамвае. Тысячи людей ездят так. Мне совестно тебя стеснять.

– Это вздор! – страстно перебил он. – Ты сама знаешь, что я счастлив даже этими беглыми свиданиями.

Она нахмурилась, уловив горечь в его словах.

– Разве у тебя нет никакого дела?

Сердце его заколотилось в груди от ее враждебного тона. Уж не презирает ли она его за то, что он посвятил ей жизнь! Но женщины так не рассуждают.

Она бежала сюда, как на свиданье. Она спасалась тут от капризов Ниночки, от «рацей» Агаты, от любви Штейнбаха. От своего рабства перед ребенком. От своей власти над Марком. Свобода... Свобода! Только с Изой Маня была самой собою. Как могла она думать когда-то, что в этой комнате нельзя ни учиться, ни грезить? Между нею и золотыми чертогами искусства падали все стены. И двери в волшебный мир творчества распахивались перед нею только здесь.

Но чем больше сближались эти две женщины и чем яснее в обыденной жизни определялись родственные черты этих двух натур, тем ярче и внезапнее выявлялась вся рознь их темпераментов и творчества. Дружба бледнела, отступала в тень. Выдвигалась борьба двух сильных индивидуальностей, борьба за свое мирозерцание, за свой взгляд на искусство, за свое собственное творчество. Самая великая и ценная борьба. И это больше всего привлекало Маню.

Она быстро поняла всю односторонность и несложность творчества Изы. В этом была сила креолки. Но в этом же таилась ее слабость. Искусством жеста – самым трудным и сложным – она владела в совершенстве. Она была создана для пантомимы. Ее руки говорили так же страстно и выра-

зительно, как и ее лицо. Все яркое и непосредственное, все сильные душевные движения, все аффекты: гнев, страх, отчаяние, ненависть, особенно ревность – Иза умела передавать неподражаемо. Она находила дивные жесты для любви, незабываемую мимику страсти. В ее творчестве было что-то стихийное, грозное или опьяняющее. Великой артисткой была она в мимодрамах, в этих испанских танцах Малагенья, или в балеро и фанданго, требовавших темперамента прежде всего. И Маня понимала, что ей никогда не достигнуть такого совершенства.

– Я перед нею восковая кукла, – говорила Маня Штейнбаху. – Все испанские «технические» танцы я с моим здоровым сердцем исполню теперь лучше ее. Но ни качучу ни малагенью я не протанцую, как она. Для этого нужно родиться испанкой.

Но все утонченное, одухотворенное, мистическое, так пленявшее Штейнбаха в творчестве Мани, было недоступно креолке. Она и Маня – это были два мира, два начала: Дионис и Аполлон.

Изучая какой-нибудь танец или пантомиму, Маня вносила в исполнение частицу собственной души, какие-то новые и сложные психологические тонкости. Образ, созданный Изой, исчезал. Намечался другой. И он требовал уже новых жестов, новой мимики.

И если творчество Изы бенгальским огнем ослепительно-го фейерверка зажигало все образы, все чувства, все собы-

тия пантомимы, то творчество Мани было тем лунным блеском, который из повседневного создает сказочный мир.

Вот эта неустанная борьба, которую Маня начала сознательно, раздражала Изу. На этой почве у них случались самые бурные ссоры. Все ученицы рабски подражали Изе. С какой стати эта Marion сочиняет свое?

– Не так... не то... Что у тебя за глаза? Разве испанки смотрят на мужчину такими глазами? Только на мадонну глядят так. Ты разве никогда не любила? Никого не целовала? У тебя не было ребенка? Не хочу этих жестов! Начинай сначала...

Маня выдерживала этот натиск с упрямой складкой губ.

Через секунду Иза ударяла кулаком по клавиатуре. Гул шел по комнате, а она вскакивала со сверкающими глазами. И браслеты ее звенели. И серьги качались.

– Да ты смеяться надо мной стала? Дерзкая... негодница... Убирайся, если не хочешь работать! У меня нет времени для тебя...

Как-то раз, дав ей успокоиться, Маня заговорила мягко:

– Сядь, Иза... вот сюда на диван. Не надо играть... не волнуйся... Смотри мне в глаза. Гляди на мои руки... И если ты не поймешь меня, значит, я ничего не стою! Но ты забудь о роли, которую ты создала. Отрешишь от прошлого. Гляди без предубеждения, как смотрят дети на сцену. И если есть правда и красота в том, что я изображаю, она откроется перед тобой. Перед тобой прежде всего...

Гнев Изы утих. Глаза ее померкли.

Она покорно села на диван.

Вытянув шею, она глядела. И тревога росла в ее душе. Да, она это предчувствовала, В сжатых и приподнятых у переносицы бровях ее читался страх неизвестности. Страх дикаря от соприкосновения с чуждой ему культурой.

И как будто одобрение этой женщины было высшей целью в жизни Мани, она вложила всю душу в попытку передать созданный ею образ.

– Ничего не стоит это новшество! – кричала Иза, сверкая глазами из-под гривки жестких волос, падавших до бровей. – Ничего я не поняла. Все это вздор! Пришла учиться, так учись! А не хочешь, убирайся.

И какое это было торжество, когда Иза следила за нею, не прерывая ее танца, не расхолаживая критикой, сама захваченная чужой индивидуальностью! Маня предчувствовала свою победу и в этих нервных, отрывистых аккордах, и во влажном блеске прекрасных черных глаз. Когда она кончала танец, а креолка молча опускала руки на клавиатуру, Маня с трепетом обхватывала ее плечи и целовала это темное лицо, смеясь и чуть не плача от счастья.

В эти минуты она верила в себя. Так бороться, так побеждать – какая радость!

Эти удивительные часы заканчивались так же странно.

Выпив шоколаду и весело болтая о всяком вздоре, они брали фиакр и мчались. Куда? Никто не отгадал бы.

В тихих, торжественно молчаливых залах Лувра, где при лунном свете ночью, наверно, бродят тени бледного Карла IX и Катерины Медичи, с ее змеиными глазами, – посреди комнаты, под витриною, на черном бархате лежит громадный бриллиант, исторгнутый из недр таинственной Голконды, одно из чудес света, гордость Франции! День и ночь представлен человек сторожить это сокровище. Человек служит камню, как раб. И что удивительного? Людей много. Бриллиант один. Люди исчезнут, он будет жить.

Сторож знает в лицо обеих женщин и улыбается.

Они подходят на цыпочках и стоят в созерцании, не обмениваясь ни одним словом. Как зачарованные глядят они на таинственную игру лучей. Что рождается в их душах в эти минуты? Ах, не надо ни уяснять, ни разбираться! Это то же настроение, что от шелеста желтых листьев в лесу, от звуков Чайковского, от блеска Сириуса в ночном небе, от созерцания Венеры Милосской.

Вот и она. Тихонько садятся обе женщины на красную бархатную скамью и глядят в гордое лицо. Какое упоение в этом безмолвном созерцании чуда, созданного рукой человека! Исчезает действительность. Сколько времени прошло? Входил ли кто сюда или они были втроем с богиней в ее красной комнате?

Ширится и растет душа от созерцания бессмертной красоты.

И только когда сторож в ливрее, проходя мимо, скажет:

«Mesdames, музей закрывают», они встают и медленно уходят, обновленные, смирившиеся, благодарные. Ах, что бы ни ждало впереди: крушение надежд, измена, потеря иллюзий, болезнь и смерть – все равно! Благословенна жизнь за то, что в ней есть такие минуты!

– Иза, – говорит Маня, стоя в крошечном сквере, под башней Сен-Жермен л'Окзерруа, – посидим здесь! Я не могу сейчас идти домой. Я ничего уже не люблю в такие минуты. И никого. Понимаешь? Надо, чтобы душа сошла вниз с высокой башни. Ах, как много ступенек надо ей пройти, чтоб опять почувствовать землю!

Бьет одиннадцать часов. Катя открывает глаза.

Она одна в комнате, на широкой двуспальной кровати. Николеньки нет. Где он? Вот досада! Она проспала. Гости разъехались так поздно.

Эта комната лучшая во всем старом флигеле. И Катя любит в ней каждую вещицу. Влюбленными глазами глядит она на пиджак мужа, перекинутый на спинку стула, на его галстук, брошенный у туалетного стола, на его штиблеты, вот тут, на коврик. Расцеловала бы, кажется, все.

Она закрывает глаза и блаженно улыбается. Ах, эта ночь!

Вот уже пятый месяц, как они женаты, а она влюблена без памяти, как в первый день, О нет! Сильнее. Теперь вся жизнь ее в нем, в его близости, в его ласке. Как могла она думать, что ей будет скучно в деревне, рядом с ним? Просыпаться

утром и глядеть тихонечко в его лицо, пока он спит, ловить трепет его век. Потом с криком блаженства обвить руками его шею.

Она любит спать. Но для него встает рано. Как весело слушать, когда он умывается! Он всегда стесняется ее, уходит за ширму, такой чудак! А у нее нет никакого стыда перед ним, ни чуточки. Разве они не муж и жена?

– «Жена...», – повторяет она вслух. – «Madame Нелидова...» И звонко хохочет, пряча лицо в подушку.

Она болтает почти не умолкая, шутит, смеется... Он любит этот смех... Сам всегда молчит. Она говорит за двух... «Канарейка», зовет ее свекровь, Ах, она очень заботлива и любезна! Но холодом веет от ее ласки. Катя чувствует, что это ревность соперницы-Чудачки эти матери! В их глазах сын всегда принц, для которого нет в мире достойной женщины.

Дверь скрипнула.

– Катя! Неужели спишь?

С радостным криком она подымается на постели.

– Поди сюда!.. Сюда... Скорее!.. Поцелуй меня...

– Скоро завтрак, Катя. Я уже выпил кофе.

– Без меня? И тебе не стыдно? – с огорчением перебивает она. – Ну вот... ты мне испортил весь день.

Он бледно улыбается и целует ее затылок. Она сладострастно ежится вся, словно кошечка, у которой чешут за ухом.

– Ты со мной еще выпьешь? Я сейчас, сейчас буду готова. Зачем ты меня не разбудил?

Она свешивает с постели точеные ножки. Ей приятно, что он их видит. Ей всегда хотелось бы читать одно желание в его глазах. Но он быстро отворачивается и идет к двери.

– Я пришла к тебе Одарку. Она принесет теплой воды.

Кате досадно. Это прямо удивительно! Точно в нем два человека. Днем один, ночью другой. Один корректный, усталый, рассеянный, равнодушный, сказала бы она, если б не эти ночи, безумные ночи. Как пугали ее раньше его грубые и жадные ласки! Теперь она их любит. Она их ждет. Ждет целый день, сладко мечтая о ночи. И если обманут надежды, она плачет тихонько, чтоб не разбудить его. Так жаль мгновений, уходящих без этих радостей.

В столовую она входит чинно, как пансионерка.

Анна Львовна ласково улыбается, Катя целует у нее руку.

Николенька читает вслух газету. Катя двигается беззвучно, как мышка. На столе такие вкусные коржики. Глазки ее поблескивают, когда она пьет ароматный кофе.

Жизнь так хороша! Нынче они поедут к Галаганам. Будут блины. Потом катанье с гор. Вечером танцы.

Что-то говорят. О каком-то новом французском романе. В газете рецензия.

– Интересно, Николенька? – звонким голосом спрашивает она.

– Нет. Тебе этого нельзя читать, – отвечает он просто.

Ну что ж? Нельзя, так нельзя! Мало ли книг на свете? Наташа Галаган обиделась бы на такую опеку. Чудная эта Наташа! Она не понимает, что значит быть замужем!

Катя на цыпочках выходит из столовой, чтобы прибрать разбросанные в спальне юбки. Одарка копается. А Николенька сердится. Он любит порядок.

Напевая, прячет она по ящикам комода белые перчатки, кружевную *fichu*⁴, сумочку, веер. Они кончат обсуждать газету и поговорят о хозяйстве. А там завтрак. И она велит запрячь санки и поедет кататься с Николенькой. Как она любит кататься! Нынче солнце. Ей хочется кричать и вертеться по комнате. Жизнь так хороша!

Вчера, после блинов, когда мужчины пили кофе, Катя увела подругу в эту спальню. Наташа покраснела, увидав кровать. Чудачка! Чего тут стыдиться, раз они муж и жена?

Наташа заговорила о модном писателе. Она восторгается его талантом, «Николенька его не терпит, – возразила Катя. – Он не хочет, чтоб я его читала...» А Наташа так и вышла из себя: «Какой возмутительный деспотизм! Неужели ты подчиняешься? Ведь ты уже не девочка...»

Глупенькая Наташа! Не все ли равно, раз Николенька любит ее именно такую?

Вчера ночью, когда гости разъехались, она не удержалась и передала ему этот разговор. И он сказал ей тогда... Как он это сказал? «Я хочу, чтобы ты была моею вполне. Всеми по-

⁴ Косыкку (*франц.*).

мыслями, всеми желаниями, всеми мечтами. Ничего своего не должно быть у тебя. Ни вкусов, ни мнений. Все мое...» Ах, это лицо его, когда он говорил! Этот голос.

Катя стоит, зажмурившись, уронив на пол кружевной платочек. И как он еще сказал? «Ты должна забыть то, что знала и ценила. И все получить от меня заново. От меня одного...» А она спросила его робко: «И тогда ты будешь любить меня? Всегда? Всегда, Николенька?» И он ответил ей: «Всегда!»

Это было вчера, вот здесь, вот в этой комнате. И он обнял ее тогда. Как свою вещь, взял он ее тогда. Трепещущую и покорную. Всегда покорную. Разве не вся ее жизнь в нем? В этой ласке, в его любви?

А пока Маня учится и грезит, Штейнбах работает для ее будущего с упорством и ловкостью.

Не раз, одеваясь в передней Изы, Маня слышит звонки. На лестнице она встречает каких-то подозрительных людей с бегающими пронзительными глазами и слащавой улыбкой. Все они – с портфелем под мышкой. Все они при виде ее отступают назад с аффектацией, свойственной французам, снимают шляпы и кланяются. Все глядят в ее лицо, кто с большей, кто с меньшей наглостью. Все смотрят ей вслед, пока она спускается по лестнице, и чему-то двусмысленно улыбаются.

– Кто это к тебе ходит? – спрашивает Маня креолку. Та делает наивное лицо.

– А что?

– Удивительно противные физиономии! Не сердись. Но меня просто бесит, как они на меня глядят!

– Это журналисты, Маня.

– А... Вот что! Зачем они к тебе ходят?

Иза странно глядит на свою ученицу.

– А ты никогда не читаешь газет?

– Никогда!

Иза, усмехаясь, качает головой. И серьги ее тоже качаются.

– Почему же так?

– У меня делается совсем пусто в голове, когда я прогляжу газету. Не знаю, почему это так. Но до того скучно становится жить на свете!

– А вот о тебе вчера еще появились две заметки в «Figaro» и в «Matin»⁵.

– Обо мне?

– Ну, да. О нас обеих. Ко мне ходят репортеры и все спрашивают о тебе.

– Что за нелепость, Иза! Какое им дело до меня?

Но Иза закипает внезапно гневом. Она чуть не плачет. Что это такое? Она отказывается понимать. Это или притворство, или... глупость? Люди добиваются известности всеми путями. Платят за это деньги. А тут счастье само идет в руки, а она недовольна. И почему журналистам не интересоваться

⁵ «Фигаро», «Утро» – парижские газеты.

ся ею, Изой Хименес, имя которой когда-то было у всех на устах?

– Да... тобою... Но я-то при чем?

– А ты моя ученица. Все знают, что ты будешь дебютировать в Париже. О тебе говорят. Твоего дебюта ждут. Чего тебе еще? Другая была бы счастлива на твоём месте.

Маня молчит.

Уходя, она говорит:

– Иза, дорогая, назначь мне такие часы, когда я не рискую встретить этих господ у твоего подъезда. Не сердись! Я глубоко благодарна тебе за твои заботы. Но мне все это противно.

– Урод! Психопатка...

– Да... да... наверно, так. Но я не могу... И не хочу быть другой! Если я стою чего-нибудь, сама по себе, то это покажет будущее.

– Какая дьявольская гордость!

– Да, я горда. Только себе хочу я быть обязанной своей карьерой.

Каждый год весной Иза дает вечер-балет в одном из театров, чтоб показать результаты работ в её школе.

Всякий раз публика заранее записывается в передней Изы на кресла и ложи. Все это – богатые люди, родители, друзья и знакомые учениц. Места в первом ряду рассылаются бесплатно светилам артистического мира. Журналистам и ре-

цензентам предоставляются лучшие ложи.

Антрепренеры театров и известные импрессарио никогда не пропускают этих вечеров. Школа Изы Хименес выпустила уже немало хореографических звезд, которые пожидают лавры в Америке и получают огромные гонорары. Вся прес-са посвящает этому вечеру кто несколько строк, кто даже целый столбец.

На этот раз выступает Маня. Она дебютирует в трико и газовой юбочке, как танцовщица классической французской школы, в грациозном «Papillon»⁶ знаменитого Пуни.

Когда занавес подымается, на сцене стоят лучшие четыре ученицы школы. Они неподвижны, с застывшими лицами. Это дремлющие цветы.

Маня – мотылек – лежит на земле вдали и словно спит под чарующую музыку вальса. Вдруг она просыпается, встает. Движения ее рук напоминают трепет крыльев.

Мотылек вспорхнул и понесся по сцене. Надо быть танцовщицей, чтобы понять, сколько технических трудностей в этом танце мотылька. На носках Маня перебегает всю сцену, делает двойные пируэты, скользит, легкая и воздушная, как будто действительно крылья у нее за спиной. Так и чувствуется радость жизни, непосредственная и стихийная. Словно нежится мотылек под ярким солнцем. И кружится, опьяненный воздухом и собственным движением.

Столько зноя и увлечения вносит Маня в этот, казалось

⁶ Мотылек (франц.).

бы, бесстрастный классический танец, что публика выходит из равнодушия.

Занавес падает под аплодисменты. Иза, однако, не дорожит выражениями родственных чувств. Она ждет, что скажут рецензенты, а главное – импресарио.

Все первое отделение занято теми же классическими танцами. Тут и ученики Изы в трико, кажущиеся обнаженными. Дамы любят эти торсы. Причудливые позы и грациозные движения групп ласкают глаз.

Но вот вбегает Нильс. И все женские сердца забились. Его встречают аплодисментами. Он уже известность.

«Какой красавец!» – думает Штейнбах со щемящим чувством.

Нильс сложен, как греческий бог. У него длинные, стройные ноги, худощавый, мускулистый и гибкий торс. Он летает по сцене, пленяя пластикой движений. Он с изумительной легкостью делает самые трудные антраша и кабриоли итальянской школы, в которых когда-то на всю Европу прославился Вестрис⁷. Для Нильса тоже как будто нет ничего невозможного. Как и для Мани, танец – его родная стихия.

Иза улыбается. Она гордится им. Она верит, что Нильс прославит ее собственное имя в Америке, где она прошла когда-то, как триумфатор, из города в город. Новое поколение уже не помнит ее.

⁷ Вестрис Гаэтоно Алполино Бальтазаре (1729–1808) – итальянский артист балета, балетмейстер.

Пятнадцать минут антракта. Иза окружена... Она поворачивается во все стороны, не зная, кому отвечать. Успех Нильса огромен. Антрепренеры настаивают на свидании с ним сейчас же.

– Сейчас? Нет, нельзя. Он переодевается. Он выступает во втором отделении в малагенье с Marion. Это лучший номер вечера. Его нельзя отвлекать. Когда все кончится... Во всяком случае, – гордо заканчивает Иза, – без моего разрешения Нильс не подпишет контракта. Вам придется иметь дело со мной...

– Куда его приглашают? – спрашивает Штейнбах Изу, когда они опять входят в ложу.

– В Америку на целый год, в турне.

«А-га! – думает Штейнбах. – А когда он вернется, я приглашу его в студию. Надо с ним поговорить заранее. Маня права. Он крупный артист...»

Когда занавес поднимается вновь, перед зрителями открывается экзотический уголок Испании. Это харчевня.

Испанцы пьют и играют в кости за столиками. Женщины едят и пьют что-то. И болтают, сидя в сторонка. Говорят, конечно, жестами, это пантомима.

Из-под занавеса, заменяющего дверь и слегка отдернутого, врывается полоса дневного света. Виден угол пустынной площади, залитой жгучим солнцем, старые дремлющие здания. На сцене тихо. Слышен только стук костей да взрывы

женского смеха.

В оркестре раздаются звуки танца. Сперва далекие... Ближе... ближе... Вдруг занавес откидывается. Женская фигура, вся перегнувшись назад, спиной к публике, появляется на ярком фоне. В раскинутых руках замерли кастаньеты. Это уличная танцовщица. Живописный костюм – оранжевая юбка с накинутым на нее темно-синим шарфом – представляет эффектное красочное пятно. Лица ее не видно. Вдруг она оборачивается и точно перелетает через сцену. За нею врывается испанец С полным страсти лицом он хочет ее схватить. Она гневно вскидывает голову. Он отступает, смущенный.

Все бросили игру. Все узнали ее. Встали и аплодируют. И она пляшет, отдаваясь подхватившей ее волне радости. Знойно и немолчно трещат кастаньеты. Она пляшет, изгибаясь какими-то змеиными движениями, как будто нет у нее костей, вся трепеща от жажды счастья, в томлении то замедляя темп, то снова бешено кружась. Красавец испанец, опьяненный этой женщиной, признается ей в любви. Зачем слова? Когда говорят эти глаза, губы, эти руки?

Он ловит ее. Она ускользает. Насмешкой дышит ее лицо. Испанец настигает ее вновь. Это какой-то любовный поединок. Чтоб возбудить его ревность, она, танцуя, перегибается то к одному испанцу, то к другому. Ласкает или обжигает их глазами. Мужчины взволнованно протягивают к ней руки. Женщины смущены. Они ревнуют.

А она все пляшет, пляшет, создавая вокруг себя какую-то знойную атмосферу, целый вихрь поднявшихся желаний. И кастаньеты трещат, как кузнечики в июльский полдень. Назойливо, страстно, опьяняюще.

Мимика Мани удивительна. Целая гамма чувств – в этом лице и гипноз чужой страсти постепенно овладевает ее душой. Гнев сменяется удивлением. Нега заволакивает глаза и замедляет движения. Гордость исчезает. Какая-то мягкость проскальзывает в ее жестах, а движения Нильса становятся все увереннее и сильнее.

Вдруг неожиданным прыжком он хватает танцовщицу, перекидывает всю ее фигуру на сгибе локтя, почти подняв ее на воздух.

Кастаньеты падают из ее рук. И они глядят друг другу в глаза. Он – торжествующе улыбаясь, как победитель. Она – со страхом, как побежденная.

Весь зал встает, захваченный на этот раз.

Маню и Лихачева вызывают без конца. Иза сияет. Она не так вела эту сцену. Но все равно! И это тонко сделано.

Штейнбах угрюмо молчит. Идея танца ему ясна. Он не ревнует к Лихачеву. Нет. Он верит в глубокое равнодушие Мани ко всему, что не искусство. И если негой загорались ее глаза и чувственная улыбка, которую он так безумно любит, раскрывала сейчас ее губы, он знает хорошо, что не для Лихачева была она. Маня перевоплощается в роль. Пусть Нильс и все другие увлекаются ею! Пока Маня идет в гору, пока

душа ее полна стремлением и борьбой, нет для него ничего страшного. И было бы смешно терзаться тем, что, танцуя, они кажутся безумно влюбленными. Он это знает.

Но есть что-то в этом танце жуткое и новое. Не совсем ясное, то, что надо додумать и понять. Она как бы вскрыла внезапно в этот вечер в своем танце тайники своей души; то, чего, наверно, она не знает сама. Это ужас ее перед любовью. Ее бессилие перед нею. Ее жгучую, сознательно заглушённую мечту.

На другой день газеты дают отзывы. Нильс признан первоклассным артистом. Он получил уже несколько выгодных предложений. Marion называют восходящей звездой.

Штейнбах читает Мане и фрау Кеслер все эти отзывы. У него уже альбом завелся, и наверху выгравировано «Marion». Эти первые отзывы он вырезает и сам наклеивает в альбом.

Маня мягко улыбается. Она задумчива и кажется счастливой.

– А это кому? – спрашивает фрау Кеслер, видя, что Штейнбах разворачивает вторые экземпляры и опять вырезает что-то.

– А это я отсылаю Соне и... Федору Филипповичу.

Жизнь Кати потемнела. Катя несчастна. Впечатление такое, будто в летний полдень сизая туча закрыла солнце. И все поникло в предчувствии грозы.

Что же случилось?

Они были у Галаганов на второй день Пасхи. Там обедали Горленко, и Федор Филиппович, и приехавшая из Москвы Соня.

Николенька побледнел, увидав ее. Да, Катя это ясно помнит. И за обедом молчал. И ни разу не улыбнулся.

Почему он так побледнел? Почему Соня так презрительно сжала губы? Она кивнула ему, как принцесса. Дрянная девчонка! Как она смеет так обращаться с ее мужем?

Лицо Кати запылало.

Во время десерта этот противный Федор Филиппович вытащил из кармана какие-то бумажки.

– Mesdames et messieurs, – сказал он, лукаво блестя глазами, – кто из вас помнит Маню Ельцову?

Разом смолкли голоса. Дамы брезгливо поджали губы. Мужчины встрепенулись. Катя низко опустила голову. Ей было страшно взглянуть на мужа.

Выждав паузу, как бы наслаждаясь эффектом своих слов, Федор Филиппович сказал:

– А вот что пишут о ней в парижских газетах...

И он прочел вслух. Правда, отзывы удивительные.

Восходящая звезда балета...

– А вот и ее портрет...

Газета стала переходить из рук в руки.

– Да, она. Кажется, она легко одета? – сконфуженно прошептала хозяйка, разглядывая в лорнет фигуру Мани.

– Просто-напросто, голая, – расхохотался Лизогуб.

– Mon cher⁸, это античный костюм, – снисходительно поправил дядюшка. – Вы разве не видели Дункан? Marion действительно сложена как статуя.

Дамы разглядывали портрет, покачивая головами. У них было такое выражение, словно они собирались замять неприличный разговор.

– Откуда это у вас? – враждебно через стол крикнула дядюшке madame Лизогуб.

Она заметила смущение дочери и бледность Нелидова. Но он презрительно щурил глаза и тщательно чистил яблоко для жены.

Вдруг раздался звонкий и холодный голосок Сони:

– Это прислал нам ее жених.

– Разве она замуж выходит? – быстро перебил изящный правовед, сын Галагана.

– Да, за барона Штейнбаха.

– А!..

Словно вздох прошел по комнатке. Наташа держала в руках газету. Наклонясь над ее стулом, мужчины разглядывали босоножку.

– Она очень интересна! – громко сказала Наташа, нарочно подчеркивая свой восторг. Катя понимала хорошо, что это нарочно. И у нее уже дрожали слезы в груди...

– Какие ноги! – крикнул правовед.

⁸ Мой дорогой! (франц.).

У мужчин ноздри раздувались, когда они взяли газету и отошли к окну.

– Эффектная женщина...

– Я бы никогда ее не узнал... Совсем другое лицо... Какое-то строгое...

– А вот и открытки, – сказал дядюшка. – Она и Нильс... тоже знаменитость... В испанском танце...

– Покажите. Покажите! Дайте сюда!

– Вот это она! Узнаю! – игриво крикнул Лизогуб, не замечая гневного взгляда жены. – Изогнулась как! Сколько неги в глазах! Ах, черт возьми, какая женщина!

– Он тоже удивительный красавец! – подхватила Наташа. – Федор Филиппыч, подарите мне эту открытку.

– С удовольствием. У Сони есть другая.

– Никогда я не поверю, что он женится! – вдруг заявила Лизогуб, покрывая своим контральто поднявшийся шум. – Охота ему жениться, этому Штейнбаху. Кто женится на таких?

– Почему? – крикнула Соня.

– Ah, ma petite!⁹ На чьи же деньги она там живет?

– Она зарабатывает сама. Она делает рисунки для иллюстрированных журналов.

Хохот встретил эти слова. Соня озиралась с пылающими щеками.

– Знаем мы эти журналы! – подхватил Лизогуб. – При

⁹ Ах, моя крошка! (франц.).

миллионах Штейнбаха...

Соня встала, резко двинув стулом. Ее круглое лицо было бледно.

– Господа, довольно! – так и зазвенел на всю комнату ее высокий голос. – Прощу не забывать, что Маня Ельцова моя лучшая подруга и что, если вы все забросали ее камнями...

– Тсс... тсс...

– ...то я-то, ведь, от нее не отреклась.

– Аль ты не в своем уме, дивчина? – через стол спросил Горленко дочь.

– Я не могу оставаться в доме, где оскорбляют моих друзей! – истерично выкрикнула Соня и ударила рукой по столу. – Я сейчас уезжаю.

– Да что с тобой, Соня!

– Какая несдержанность!

– Оскорблять беззащитную, одинокую девушку! – уже рыдала Соня. – И вам, дядюшка, не стыдно молчать?

Дядюшка комично развел руками.

– Ну вот. Теперь я виноват...

– Дайте ей воды! – закричала хозяйка. Все вскочили.

– Sophie, ma chérie¹⁰, – мягко говорил Галаган, целуя в голову Соню, рыдавшую на его груди. – Успокойся. Кто ее оскорбил? Пусть себе пляшет! Мы очень рады за нее.

– Пойдем ко мне, – ласково сказала Наташа, обняла Соню за талию и увела к себе.

¹⁰ Софи, дорогая моя... (франц.).

В столовой все молчали, сконфуженные, растерявшиеся. Мужчины усиленно курили. Дамы кушали фрукты.

— Она переутомилась с этими экзаменами, — мягко объяснила Вера Филипповна. — Совсем расстроила себе нервы.

Правовед знал о мимолетном романе Нелидова.

— Вы хотите взглянуть? — любезно предложил он, протягивая ему газету.

— Позвольте, — небрежно отозвался Нелидов.

Тут в первый раз Катя подняла глаза. Она не могла удержаться, чтобы не взглянуть на мужа. Если бы даже спасение души ее зависело от этого, она все-таки взглянула бы. И она увидела... Что? Пустяки, скажут другие. Но она-то знает... Она верит сердцу, дрогнувшему в ее груди. Николенька кинул один только взгляд на эту «Маньку». Один только. Беглый. Но такой острый, такой жадный. И рот его дернулся. Он тотчас передал газету дальше и стал чистить мандарин.

Вот и все. Они скоро уехала У нее заболела голова.

Всю дорогу он молчал. Словно не видел, что она сидит рядом, что ей страшно, что она ждет его ласки.

С этой минуты ушло безмятежное счастье Кати.

Никогда не считала она себя ни ревнивой, ни подозрительной. А теперь она уже боится верить. По ясному зеркалу души прошла трещина. Этого не изменишь.

Черной маленькой змейкой вползла ревность в эту душу. И пригласилась там, незаметная, на самом дне.

Пение Кати смолкло. Реже звучит ее смех. А ведь Николенька не замечает. Он бежит в поле. Спешит на охоту. Возвращается усталый. И засыпает, не обняв ее. Иногда он словно не видит рядом с собою ее смуглого тела, которое так любил недавно. И на какие только ухищрения не идет она, чтоб разбудить его чувственность.

Он спит, А она думает, думает. Неужели охлаждение? Так скоро? И за что? Но разве можно жить дальше без его страсти? Лучше умереть. И она горько плачет. Ей жаль себя. Жаль юности и жизни.

Иногда на нее нападает ужас. Она видит его усталые жесты, жесткий взгляд. Холодом веет от его улыбки. Он еле скрывает этот холод под маской светской любезности. Это с нею-то? С женой? Разве она не чувствует, что он постоянно стремится уйти от всех?

И Анна Львовна тоже тревожно следит за ним и думает что-то.

Что думает она?

«Зачем он женился, если не любит? Зачем обманул?»

Катя плачет потихоньку.

Но он возвращается к ней. И это похоже на то, что он вернулся из далекой-далекой страны. Пристально глядит он тогда в это исхудавшее личико. Словно спрашивает; «Да разве это ты, о которой я мечтал, которую ждал всю жизнь? У тебя было совсем другое лицо».

И как горячи тогда его поцелуи! В кровь кусает он ее шей-

ку, ее губы. Вновь путает ее давно забытой исступленностью ласк.

И в замученную душу Кати входит такая отрадная тишина. Разве они не навеки вместе? Разве не соединил их Бог? Кто посмеет разлучить их? Кто?

Но они возвращаются, эти сомнения. Черная змейка, спящая на дне сердца, шевелится опять и больно жалит.

В печальных глазах Николеньки она ловит образ другой женщины. Разве счастливый человек может так улыбаться? Быть таким далеким и рассеянным? Не слышать вопросов любимой женщины, когда она тут, рядом?

А потом опять – опять, после недели отчуждения, он ласкает ее. И она засыпает, успокоенная его страстью. Она спит с улыбкой на губах. Забыть все! Быть счастливой. Глупая, неблагодарная! Разве не любя можно так целовать женщину? Что нужно ей еще для счастья?

Но вот она заметила еще странность. Чем горячее его поцелуи ночью, тем холоднее его глаза днем. Эти мрачные и больные глаза.

Или это ей все кажется? Только кажется ей?

Один раз в сумерки она прокралась в его кабинет.

Николенька сидел у гаснувшей печки. Такой печальный, затихший. Она взяла скамеечку и села у его ног. Она обняла эти стройные ноги и прижалась к ним лицом. Совсем как кошечка.

«Кици...» – тихонько сказал он, не отрывая глаз от огня. В хорошие минуты, когда он шутит с нею, он часто называет ее так. Как она обрадовалась этому «Кици!»

Он уронил руку на ее голову. И точно забыл о ней.

И вдруг змейка шевельнулась. «Он думает о Мане», – поняла Катя.

Слезы разом закапали из ее глаз. Крупные, горячие слезы. Точно летний дождь.

Он вздрогнул. Испуганно нагнулся. Он хотел поднять ее голову. Но она прижалась еще крепче к его коленям и вся затрепетала от рыданий.

– Ты не любишь меня, Николенька! – расслышал он.

Его глаза расширились от страха. Что она сказала? Почему она так думает? Разве он чем-нибудь выдал себя? Дал угадать ей или матери свою тоску, свою тайну?

– Ах, это ложь! – крикнул он, отвечая не ей, а себе. Себя стараясь уверить. – Катя... Кицинька... моя девочка... Я люблю тебя. Тебя одну...

Катя перестала плакать. Он выдал себя.

Она покорно поднялась. Он посадил ее на колени и стал гладить ее лицо. И она опять закрыла глаза.

Это было что-то новое между ними. Такое прекрасное. Горечь и обида стихали под этой нежной рукой.

– Я стар для тебя, Кици, – расслышала она.

И крепче прижалась к нему, обвив руками его шею, как бы говоря: «Нет... Нет... Нет...»

– Видишь ли, все изменится, когда у нас будут дети. Когда это будет, Кици? Ты не знаешь?

И в сердце Кати, всегда боявшейся материнства, в сердце этой маленькой женщины, жаждавшей только радостей, вдруг забились сладкая надежда: ребенок вернет ей Николеньку. Ребенок свяжет их еще крепче. И не страшны тогда ей будут ни эти минуты его молчания, ни эти образы минувшего.

Только конец марта, но в Париже жара и пыль. Мужчины ходят в одних пиджаках. Горничные и прачки без шляп, с цветком в волосах. Эти цветы пестреют на каждом углу: фиалки, желтые ромашки, левкой. Элегантные дамы еще носят меха и муфты, но и они украшены букетами живых цветов.

Близ собора Парижской Богоматери в сквере звенят детские голоса и смех.

Две женские фигурки медленно пересекают площадь и останавливаются недалеко от портала.

– Вот это и есть? – шепотом спрашивает Соня, глядя на цветную розетку из стекла.

– Да, да. Хорош?

– Лучше, чем я думала. Помнишь, как мы по ночам читали Виктора Гюго?

Маня покупает ей и себе по огромному букету желтой ромашки. Они садятся на лавочку, и Маня целует цветы.

– Люблю их. Вот эти особенно. Они похожи на солнце.

Соня смолкает, утомленная впечатлениями. Она приехала только вчера вечером. И на Северном вокзале ее встретили Штейнбах и Маня. Они все горячо обнялись, и радостна была эта встреча.

Прямо с вокзала они поехали в предместье Нейи, где живет Маня. Там их ждала фрау Кеслер с горячим кофе и домашним ужином. У них же Соня и осталась. Они вчетвером проговорили почти до зари. Потом Марк уехал.

– А твоя Ниночка? – уже перед сном вспомнила Соня.

Маня приложила палец к губам и на цыпочках повела ее в свою комнату, Ночник слабо озарял люльку. Соня склонилась над нею с невольным благоговением. Ведь это было чудо перед нею. Дитя любви.

И только утром Соня разглядела это точеное личико, надменные губки и серые глаза. Она покраснела невольно, целуя крохотную ручку, а Маня засмеялась.

– Вылитый отец! Правда?

Соня замолчала, потеряв разом почву под ногами. Неужели Маня не разлюбила Нелидова? И, как бы отвечая на ее мысль, Маня спокойно добавила:

– Она будет очень хороша собой. В ней сказывается порода.

– Бог с ней, с породой! – перебила фрау Кеслер. – Было бы сердце.

– А почему ты думаешь, Агата, что он бессердечен? Нет, он даже великодушен и благороден. Зачем судить его так

строго? Он только... средний человек, нормальный. Конечно, я желала бы, чтобы Нина была интереснее и сложнее своего отца.

«Разлюбила, слава Богу!» – подумала Соня. Они с утра уехали осматривать город. В два они должны все съехаться у Марка. У него же завтракать. Так условились накануне. Соне дорога каждая минута. Она вырвалась только на две недели, заработав на эту поездку уроками полтораста рублей. Чего стоило уговорить мать и отца! Особенно отца... Она всегда в Лысогорах встречала Пасху. Но главное она «променяла» их. И на кого же? На содержанку Штейнбаха!

Щеки Сони загораются всякий раз, когда она вспоминает эти жестокие слова. Вчера она все выпросила у фрау Кеслер. Правда, Маня мало зарабатывает теперь, когда ученье занимает так много времени. И без помощи Петра Сергеевича они никогда не могли бы прожить. Нуждаются ли они? О нет. Теперь нет. Каждое первое число Петр Сергеевич присылает им шестьдесят рублей. Конечно, ни одной лишней копейки они не тратят. И фрау Кеслер ведет хозяйство. На столе у них часто бывают конфеты, торты, ананасы, бананы, но все это подношения Штейнбаха.

Маня страшно горда. Она всегда делает вид, что всем довольна, и не позволяет ему заглянуть в ее жизнь. Но фрау Кеслер знает, как тяготит ее необходимость брать деньги у брата на жизнь, а у жениха на ученье. Но скоро ведь это все кончится. Маня поступит на сцену.

Маня вдруг встает, и мысли Сони разлетаются, как вот эта стая голубей у их ног.

– Отдохнула? – спрашивает Маня, подняв левую бровь.

И опять на один миг Соня видит, что из этого нового лица Мани выглянула прежняя девочка.

– Да, милая, пойдем! – С приливом любви Соня жмет руку подруги.

– Теперь сюда! – говорит Маня. И вдруг брови ее сдвигаются, расплываются зрачки, и Соня чувствует приближение чего-то мистического... Как тогда, в бассейной пансиона, где гулко падали капли среди ночной тишины. А они, растрепанные и заспанные, готовились к экзамену и боялись оглянуться, потому что сзади треснули половицы и кто-то холодомдохнул в их затылки.

– Я сюда тоже хожу почти каждый день, – шепчет Маня, как будто боится быть подслушанной.

Соня идет за нею как во сне. Недалеко. Повернули за угол, и перед ними встает низкое, странное здание, без окон на фасаде. Дверь открыта. Одни входят, другие выходят. Все больше простолюдины. Много женщин с грудными детьми на руках, с девочками, цепляющимися за юбку матери.

– Что это, Маня? Где мы?

– Это морг. Иди за мной.

Комната слева освещена большим окном. Вдоль всей стены, против входа, под витриной выставлены трупы. Сейчас

их пять. Трое мужчин, две женщины. Имена их неизвестны. Поэтому все имеют право взглянуть на них. Быть может, и признают? Тогда их похоронят.

Они лежат здесь в тех одеждах, какие надели в последнее утро своей жизни. Всем далекие. Для всех чужие. И от живых уже не ждут ничего.

Как любит Маня отгадывать последние мысли и чувства, запечатлевшиеся навеки в застывших чертах! Эти мутные зрачки, эти таинственные улыбки – как влекут они Маню! С какой неодолимой силой. Вечность глядит на нее с этих мертвых лиц. Вечность говорит с нею этими сомкнувшимися навек устами.

Вот странствующий монах, в коричневой сутане, подпоясанный веревкой, с тонзурой на темени, с бритым лицом. Широкий синий шрам виднеется из-под прилипших ко лбу волос. Он убит, должно быть, на большой дороге. Быть может, он нес деньги, пожертвованные на монастырь. Когда Маня заходила сюда три дня тому назад, его еще здесь не было.

Мертвец слегка склонил голову набок и сощурил один глаз. Он словно подмигивает Мане. И сколько презрения в опущенных углах тонкого рта! Сколько равнодушия к земному и небесному.

Соня отворачивается невольно. А Маня глядит, глядит... Или вот эта женщина. Она лежит здесь уже несколько дней, никем не признанная. И завтра ее похоронят. Она еще

молода. Сквозь рубище сквозит зеленовато-смуглое тело. Как выразителен ее рот! Покорностью дышат все линии ее опустившихся безвольно черт. Печально поблескивают чуть полуоткрытые остекленевшие глаза. «Она покончила с собой, — думает Маня. — Она ушла из жизни. Ушла, как лишняя, как побежденная. Нужда? Любовь? Одиночество? Кто послал тебя на смерть?»

Но с еще большим трепетом ищет Маня в этих мертвых масках первое веяние потустороннего мира. Первое предчувствие открывающейся тайны.

Она берет Соню за руку.

— Гляди в это лицо, — шепчет она.

Старик, в старомодной пелерине, лежит последним справа. Большой, костлявый старик. Его крупное лицо обросло седой бородой. Глаза широко раскрылись и смотрят вверх. Но опять-таки всего выразительнее его рот, с синими жесткими губами. Кажется, что в последнюю минуту умирающий крикнул изумленно: «А!» Но это чувство уже не здешнего мира. Об этом говорят расширенные, словно ослепленные чем-то глаза. Это не скорбь. Не страдание. Не страх. Скорее радость.

— Как умер он? — тихо спрашивает Соня.

— Сторож говорит, что когда его привезли сюда, на нем не было ни раны, ни царапины. Его подобрали на улице. Он умер, наверно, от разрыва сердца. Я уже третий раз гляжу на него, Соня. И он мирит меня со смертью. И, вообще, все

они... Разве есть что-нибудь страшное в их лицах? Вглядишься! Я люблю приходить сюда. Мы точно ведем безмолвный разговор. Я спрашиваю, они отвечают. Когда я ухожу отсюда, все мои печали и сомнения кажутся мне такими маленькими. А этого старика я успела полюбить. Я вижу отблеск бессмертия в его глазах. И мне самой уже не страшно жить. Я говорю себе: если устану бороться, если утрачу веру, если сломит меня то, чему я кидаю вызов, то всегда есть выход. Чего стоит жизнь без мечты и стремления?

– Ты раньше так не говорила, – шепчет Соня. – Ты просто жила и радовалась.

– То было раньше. А теперь я думаю: лучше умереть, чем изменить себе!

Соня и Маня поднимаются вверх по бесконечной старой улице Сен-Жак в Латинском квартале.

Они подходят к дому, где живет Женя Липенко, медичка. Соне поручено передать ей деньги и письмо.

Они поднимаются на шестой этаж угрюмого старого дома. На стук открывает сама Женя. Это высокая, красивая брюнетка с темными глазами южанки. Но лицо у нее землистое, губы бледны.

– Письмо от Зины? – радостно вскрикивает она, и на щеках ее появляются ямочки. – Пожалуйста, войдите! Садитесь.

В большой комнате, с двумя окнами и балкончиком, хо-

лоднее, чем на улице. Уныло чернеет пасть пустого камина. Мебели мало, и комната кажется нежилой. Но здесь живут двое.

«Насколько у нас в общежитии лучше!» – думает Соня.

Женя уже прочла письмо. Бережно берет она русские бумажки и кладет их на стол. И по этому жесту Маня догадывается, как ценит деньги русская студентка в Париже.

– Ах, Боже мой! – Соня вдруг вскакивает. – Простите! Мы помешали вам готовиться!

– Сидите, сидите, пожалуйста! Всего не переучишь. Надо же и вздохнуть. Я и сама рада новым лицам. Точно свежего воздуха пустили в погреб. Мы ведь, ей-Богу, здесь точно в погребе сидим. Клиника, Сорбонна, да столовая, да клуб наш. И нет ходу дальше! Все те же да прежние. Ни новых лиц. Ни свежих слов. И жизни нет совсем. Учение стоит страшно дорого. Лишения ожесточают. Нервы напрягаются в этой борьбе за свое место в мире. Некогда оглянуться. Все бежит мимо. И ни о чем не жалеешь. Лишь бы уцелеть! Лишь бы вынырнуть.

– У нас легче, – шепчет Соня.

– Еще бы! Зато если вы захотите действительно получить знание и опыт, приезжайте сюда. Клиники здесь поставлены удивительно! Всем хватит работы. Все больницы для вас открыты. Только трудитесь. Это не то что в «Записках врача». И если и здесь вы ничему не научитесь, то вините одну себя.

– Семь лет! – после паузы задумчиво говорит Маня. – Это

все-таки ужасно. Уйти из жизни на семь лет!

Женя быстро оборачивается.

– Вы тоже студентка?

– Нет, я готовлюсь на сцену. Здесь, в Париже.

– А!

Левая бровь Мани поднимается, и она лукаво глядит на Соню. Сколько выражения в этом коротеньком «А!».

Но слова Мани все-таки задели в душе Жени какую-то надорванную струну. И она жалобно зазвенела вдруг в ее голосе:

– Лучше об этом не думать, знаете ли? Бот мне уже двадцать восемь лет. А что я видела кроме книг, да товарищей, да профессоров? Разве для них я женщина? Разве мне они интересны? А других нет. Да никогда на этом и не останавливаешься. Вот только в дни рожденья, когда письма придут из России, да под Новый год вдруг точно в грудь тебя кто толкнет. «Жила ли ты?» – крикнет кто-то в уши. И засмеется. И от этого смеха станет холодно.

– Отчего? – вдруг звучит наивный вопрос. Но в глазах Мани сверкает насмешка. – Я сейчас сказала глупость про эти семь лет. Разве так упорно стремиться к чему-нибудь не есть уже счастье?

Женя бледно улыбается.

– Мы привыкли под этим словом понимать другое.

Дрогнули тонкие ноздри Мани. Потемневшими глазами Соня перебегает с одного лица на другое. Какие разные обе!

Но какие сложные!

– А почему именно другое? Почему именно в любви вы видите это счастье? А я вот слушала вас и завидовала. Да. Завидовала до боли. Если б каждая из нас так упорно шла к цели, не зная колебаний! Место в жизни, говорите вы? Да оно уже есть у вас. Вы его заняли. А любовь? – Маня вдруг улыбается, и глаза ее светлеют. – Разве так трудно полюбить кого-нибудь?

– Трудно, – медленно говорит Женя, не сводя глаз с этой девушки, на которую за минуту перед тем не обращала внимания.

– А почему? – все также наивно звучит настойчивый вопрос.

Женя краснеет и разводит руками. Соня отодвигает лампу и кладет локти на стол. Сердце ее стукнуло. Вот... вот... она сейчас узнает... Поймет все загадочное в этой новой Мане.

– Почему трудно полюбить? Как вы странно спрашиваете! Ведь это на всю жизнь.

– Да? – уже весело и задорно спрашивает Маня.

Женя отодвигается, растерянная.

– Надо уметь выбрать, – говорит она глухо. И смущенно, почти враждебно глядит на Маню. – Надо, чтоб убеждения, стремления...

– Все, словом, было бы одинаковое? – подхватывает Маня и зло смеется. – А скажите, вы верите в загробную жизнь? Вам не страшно резать трупы?

– Почему вы меня об этом спрашиваете?

– Нет, ответьте. Вы верите?

– Я позитивистка, уже в силу моей профессии-. Как же вы хотите...

– Да, позитивистка и доктор в недалеком будущем. А что касается любви, вы так же наивны, как любая институтка. У вас, пожалуй, даже больше иллюзий.

И Женя ясно видит холодную усмешку и полные мрака глаза. «Интересное лицо! – думает она. – Но какие противные слова она говорит! Наверно у нее есть прошлое...»

– Такой цинизм в ваши годы, – говорит она, точно думая вслух.

Маня встает, как ужаленная.

– Почему цинизм? Вы не считаете себя циником, отрицая веру толпы, веря только науке? Почему желать, чтоб в центре женской жизни стояла «Мечта и Жажда», как говорит мой любимый поэт, значит быть циником? Я высоко ценю любовь, как радость и вдохновение. Но у нас еще не научились любить радостно и легко.

– То есть как легко? – вскрикивает Женя.

– Без драм, без слез, без проклятий. Ничем не жертвуя этой любви.

– Что значит «ничем»?

– Ни одним шагом, ведущим по намеченному пути... Ни одной мечтой своей, ни одной частицей своего собственного я. Встречаться с восторгом и расставаться без сожаления.

Отдохнуть на минуту и идти дальше.

– А! – срывается у Сони. Но Женя смущена.

– А не будет ли это распушенностью? Что же свяжет вас?

– Любовь... Только любовь, которую у нас гонят, которую унижают, которой боятся, как чумы. Не будет ни лжи, ни насилия, ни цинизма, которого вы так боитесь. И боитесь справедливо. Вот где будет истинная поэзия. Но не ищите ее там, где людей связал долг или жалость. Или страх чужого мнения и ответственности. Любовь – великое чувство. И горе тому, кто хочет ее опошлить, привязать на цепь, втиснуть ее в рамки. Она смеется и уходит. А люди остаются связанными, как каторжники. И в холодном бесстыдстве повторяя жесты, утратившие значение и смысл, они хотят уверить себя и других, что это любовь. Ах, не жалейте, если вы ее не узнаете – такую любовь! Ваша душа останется свежей и невинной. Отдайте ее Мечте. Науке. Славе. Человечеству. Мечта привела вас сюда. Она же и поведет дальше. Вы – счастливая без *счастья*! И чем больше будет таких, тем светлее станет жизнь. И мы победим самое страшное в нас – нашу Женственность.

Женя взволнованно встает.

– Простите... Я только сейчас начинаю вас понимать. Да, это не цинизм. Наоборот, вы удивительная идеалистка! Я не все поняла, это надо продумать. Но я чувствую, что стою перед стройным и новым мирозерцанием. Наша женственность... О, да... Она враг наш. Она тянет нас к подчинению. Но чтоб дойти до такого вывода, надо много выстрадать.

Маня уже овладела собою и опять сдержанна. Брови приняли прежние спокойные линии. Губы холодно улыбаются.

– Ах, это было давно! И я рада этим урокам жизни. Они дали мне то, что выше счастья. Свободу души.

Гости поднимаются и застегивают свои пальто. Женя крепко жмет руки девушек.

– Спасибо вам! Вы сейчас так много дали мне обе. Хорошо бы встречаться! Право... Вот вы уедете, Софья Васильевна... А ведь вы-то остаетесь здесь?

– Я в таком же водовороте, как и вы, – говорит Маня серьезно. – Учусь, долблю лбом стену. Но она рухнет, знаю. А тогда... вот тогда придет Жизнь.

Лицо Мани словно светлеет при этих словах. А темные глаза становятся огромными и прозрачными.

– «Жизнь!» – как эхо повторяет за нею задумчивая Женя.

А Соня грустно говорит себе: «У меня она будет наверное бледнее того, что я переживаю теперь, на курсах!»

Маня застегивает перчатки. И, как бы угадав эти мысли Сони, она подхватывает:

– Будет ли эта жизнь ниже Жажды и Мечты, владеющих нами сейчас? Не знаю. Может быть, вся ценность была в этом именно труде, в этом именно стремлении. Увидим, увидим. Вот нас здесь трое, – говорит она, блестящими глазами окидывая пустую комнату. – И у каждой из нас в душе свой мир. И если б каким-нибудь чудом вся наша энергия, все наши порывы, грезы и упорство воплотились на земле – о, ка-

кое грозное, какое прекрасное воинство ринулось бы отсюда в мир для борьбы и достижения! Мы молимся разным богам: вы – науке, Соня – человечеству, я – искусству. Но путь у нас один. Трудный путь ввысь. Вы меня понимаете? Ах, если б всем нам подняться вверх, не устав на полдороге! Не изменив себе.

– Будем верить! – говорит Соня.

– Верить, – мечтательно повторяет Женя. Вдруг Соня ударяет себя по лбу рукой и хохочет:

– Я совсем с ума сошла! Ведь у меня еще одно письмо. Ваша сестра просила меня передать его одной русской.

– Курсистке?

– Нет, нет. Писательнице... Nina... постойте, сейчас взгляну фамилию.

– Nina Glinska, – быстро перебивает Женя.

– Да... да... да... Вы ее знаете?

– Еще бы! Это интереснейшая женщина из всей русской колонии! Она пользуется огромным уважением. Поезжайте к ней сейчас же. Она всегда дома от четырех до семи.

– Где же она пишет? – спрашивает Маня.

– Она сотрудница «Revue blanche» и «Revue de deux mondes»¹¹. Пишет по-французски. О русской литературе больше всего. Многих писателей наших перевела. Она очень талантлива. Это недюжинная женщина. И я рада, что вы ее увидите. Между прочим, она социалистка. Вам это говорила

¹¹ Французские литературные журналы начала века.

Зина? Она сблизилась с французскими рабочими. Настолько сошлась с ними, что совершенно порвала с так называемыми «буржуа»...

– Как странно! – задумчиво шепчет Маня.

На прощанье Женя опять жмет им руки горячо и доверчиво. Глаза ее с невольной завистью останавливаются на лице Мани, на своеобразно смелом изгибе ее бровей и губ.

– Вы, наверное, любите жизнь? – вдруг срывается у нее грустно и робко.

– Люблю! – говорит она.

И улыбается так широко и радостно, что в комнате точно светлеет.

– И не боитесь ее?

– Я? Что бы она ни дала мне впредь, я благословляю ее за все. И далее страдания и слезы мои я буду любить, когда они придут. Все это жизнь. Прекрасная жизнь!

– Зяма... – шепчет Маня, большими глазами глядя на Сою.

– Что он тут делает? Сторожит кого-то? Господи! У меня даже сердце забилося.

– Почему он в Париже?

– Он писал Розе, что учится здесь. Она ему даже денег посылала.

– Как ты думаешь, он нас тоже узнал?

– Конечно. И чего-то испугался.

При свете фонаря они читают на белой дощечке, прибитой у двери подъезда, Nina Glinska. Соня входит на крыльцо. Она слышит явственно за дверью мужской голос, говорящий по-русски: «Вы ничем не рискуете. За вами не следят. И мы примем меры...» – «Вам я не смею отказать», – звучит еще явственнее ответ.

В то же мгновение распахивается дверь. Из квартиры выходит человек. Он так высок и худ, что кажется воплотившимся Дон-Кихотом. Он очевидно смутился, увидав девушек. Они мельком видят бледное лицо аскета, белокурую бородку, тесно сжатые губы и холодный взгляд серых глаз.

Незаметным жестом он надвигает шляпу на брови, так, что лицо его остается в тени. Но Маня говорит себе, что даже через десять лет, увидав в толпе это лицо, она его узнает.

– Pardon! – говорит он, чуть дотрагиваясь до шляпы и словно пронзая взглядом чужие лица.

Слегка согнувшись, высокий, весь в черном, он проходит под аркой ворот и скрывается.

– Зяма пришел с ним, – шепчет Соня. Кто-то держит изнутри дверь на цепочке, и на Маню пристально глядят чьи-то глаза.

– Кого вам угодно? – слышат они женский голос. Женщина спрашивает по-французски.

– Madame Glinska, une lettre di Russie¹², – быстро говорит Соня.

¹² Госпожа Глинская, письмо из России (франц.).

Через мгновение они уже в передней. Там совсем темно.

– Вы русские? – спрашивает женщина. И холодок недоверия звучит в ее голосе.

– Да... Вам письмо от Зины Липенко... Я из Москвы.

– Ах, вот как? От Зины? Пожалуйста, войдите.

Она запирает дверь, накладывает цепочку. Ее манеры меняются мгновенно. Она идет в следующую комнату, откуда в переднюю падает широкая полоса света, и делает грациозный жест рукой.

– Пожалуйста, разденьтесь.

Это среднего роста стройная женщина, лет тридцати пяти. Она одета строго, вся в черном. Ее светлые волосы лежат в бандо вдоль щек, худых и отцветающих. Глаза ее светлые и холодные. У нее умный лоб, смелые брови, темные волосы, и тонкая улыбка.

Через маленькую столовую она ведет их в свой кабинет. Это большая и мрачная комната, совсем лишенная женственных украшений и кокетливых мелочей. Все темно, строго, солидно. Кабинет мужчины. Лампа под зеленым абажуром озаряет рабочий стол, заваленный книгами и рукописями. Переплеты тускло поблескивают позолоченными корешками за стеклом шкафа. На стене портреты Элизе Реклю и Кропоткина. В глубине комнаты рояль.

«Она любит музыку. Может быть, сама играет и поет», – думает Маня.

– Прошу садиться, – ласково говорит Глинская, придвигая себе кожаное кресло. – Я сейчас пробегу письмо.

Девушки озираются с любопытством и смущением. Они обе бессознательно робеют перед этой женщиной. Разве не сумела она устроить свою жизнь по-новому? Не отвергла ли она торные дороги? Не идет ли она, одинокая и гордая, по пути, подсказанному ей убеждением, чувством, призванием? Ее обстановка буржуазна. «Но ведь это все нажито ее собственными трудами, – думает Соня. – Каждый стул, каждая чашка в этой квартире куплены на ее трудовые деньги. И если она любит комфорт, кто смеет упрекнуть ее в этом? Разве каждый рабочий не стремится украсить свою жизнь радостями мещанина? Ведь это только удовлетворение самых законных эстетических потребностей?»

– Вы надолго сюда? – приветливо спрашивает Глинская, складывая письмо.

– Увы! У меня только одна неделя. А Париж необъятен...

Нина Глинская смеется и становится более ственной.

– В самом деле, здесь можно растеряться. Не могу ли я помочь вам? Что вы хотели бы видеть?

Соня открывает рот. Беспомощно разводит руками.

– Все! – срывается у нее.

Маня не может удержать смеха. Глинская тоже звонко хочет и кажется теперь моложе лет на десять.

– Однако из всего надо выбрать только немного. Вот сейчас с одного слова вы раскроетесь передо мною. Что вас

больше интересуется за границей? Люди? Или вещи? Под этим я понимаю: соборы, музеи, памятники.

– Конечно, люди! – вскрикивает Соня. «А меня, конечно, вещи», – думает Маня.

– Ну вот и договорились! В Сорбонне были?

– Завтра идем и туда, и сюда.

– А завтра вечером общее собрание феминистской Лиги «Les droits des femmes»¹³... Хотите со мною?

– Еще бы! Как я рада!

– А разве это не скучно? – спрашивает Маня, поднимая левую бровь.

– Как для кого, – отвечает Глинская, тонко улыбаясь. – Я нахожу эту лигу крайне интересной с тех пор, как в нее, вопреки желанию учредителей и председательницы, влилась новая волна: женщин-работниц.

– Значит, это не буржуазная лига, как у нас, в России? – спрашивает Соня, вся подаваясь вперед.

Глинская берет со стола красивый разрезной ножик черного дерева и играет им. Она откинулась в глубь кресла. Маня с удовольствием видит небольшую изящно обутую ногу.

«Эта женщина хочет нравиться», – думает она.

– И здесь лига долго была буржуазной, все первые десять лет. И сейчас председательница – аристократка. И секретарь – дама из высшего общества. Между прочим, образованная и талантливая женщина. И товарищ председателя –

¹³ «Права женщин» (франц.).

ученая буржуазна. Да и самое ядро, конечно, все из буржуазии. Ее привлекали, имея в виду осуществить филантропические затеи, ясли, приюты для детей и для старух, образцовую прачечную. Но, в силу вещей, рабочий элемент, которому эта лига пошла навстречу своей петицией в палату депутатов о сокращении трудового дня для женщин...

– Ах, вот как! Даже в палату?

– А как бы вы думали? Председательницу не любят. Но ей нельзя отказать в энергии. И у нее связи. Теперь с лигой считаются. На ее заседаниях присутствуют представители прессы, от города, от министерства. Вот увидите сами.

– Как это интересно! Но вы что-то говорили о рабочих?

– Да. Я говорю, что работницы теперь сами заинтересовались этой лигой. Они вступают в ее члены. Образовали сейчас стойкую и сплоченную оппозиционную группу. Они отлично знают, чего они хотят и куда им идти. Правлению трудно бороться с новым течением. Эти женщины не желают над собой опеки господ. Вы послушали бы, как они говорят!.. Возможно, что председательница покинет свой пост под давлением этой враждебности. Завтра это выяснится.

– Так что лига, в сущности, демократическая? – вскрикивает Соня.

– Н-не скажу сейчас. Но к этому идет несомненно.

Заседание Лиги уже началось, когда Соня и Маня вошли смущенные, запыхавшиеся. Они совсем заблудились в этом

огромном Париже. И даже план, с которым все время справляется Соня, не помог. Они не знали номера трамвая. Они не подозревали, что это так далеко от них и в такой глуши.

Они садятся на свободные места. На них выкают и оглядываются. Из третьего ряда им кто-то кивает. Элегантная дама в черном, в шляпе с огромными полями и пером. Кто же это?

– Да это Глинская, – первая узнает Маня. – Какая интересная! Совсем другой человек.

На эстраде три женщины. Председательница, важная седая дама в шляпке, читает что-то тягучим и недовольным голосом. В черепаховый лорнет на длинной ручке она глядит в рукопись. Слева – угрюмая и плохо одетая брюнетка... «Со всем как у нас, в Обществе – шепчет Соня. – И на французенку непохожа»... Справа – очаровательная женщина, вся в белом, в белой весенней шляпе с фиалками. Это секретарь. Сняв длинные до локтя перчатки, она что-то пишет и скользит изредка умными, насмешливыми глазами по лицам публики.

Маня оглядывает всех по привычке и с бессознательной жадностью художника. Как и всюду, мало красивых и значительных лиц! Впрочем, вот одна. Брюнетка с теплой шалью на плечах. Она причесана по моде, но без шляпки. Должно быть, работница. Их тут много, но все бесцветны.

Перед ними сидит старушка, вся седая, сгорбленная, опираясь обеими руками на палку. Маня видит огромный изу-

мруд на ее мизинце. На бархатной шляпке старушки веет страусовое перо. Шелковая накидка с настоящими кружевами накинута на сутулые плечи. Это тоже дама «большого света». У нее заметные седые усы. Черты резки, губы запали. Но вот она обернулась на кого-то, кто шепчется позади, и глянула строго и ярко. Какие блестящие глаза! Маня вынимает из пальто записную книжку, с которой не расстается, и тихонько зарисовывает оба профиля: аристократки и работницы, потом прелестное лицо секретаря на эстраде и живописную голову Глинской. Мужчин немного. Вон те, направо, что строчат торопливо за маленьким столиком, наверно репортеры. А в первом ряду – представитель министерства или города. У него какой-то орден в петлице. Но лицо банальное. Типичный француз. Отчет кончен.

– Кто желает возразить? – спрашивает председательница.

– Прошу слова, – низким мужским голосом говорит брюнетка с шалью на плечах и встает. Все оглядываются.

Глинская быстро поднимается, пользуясь перерывом, и, раскланиваясь, пробирается назад, к тому ряду, где сидят Соня и Маня. Перед ними как раз пустой стул. Глинская садится.

– Слушайте внимательно, – шепчет им Глинская. – Это Дениза. Она анархистка.

– Тсс... – проносится по зале. Старушка сверкает на них глазами. Маня умиляется.

Среди внезапно наступившей тишины низкий голос ра-

ботницы звучит отчетливо и слышен без малейшего напряжения во всех углах. Речь ее, сначала сдержанная, полная иронии, постепенно разгорается. Она обвиняет правление в бездеятельности, в отсутствии инициативы, в нежелании идти навстречу нуждам рабочего класса. Что сделали для них за эти три года «эти дамы, жаждущие популярности»? Их настойчиво просили устроить ясли в одиннадцатом округе, заселенном фабричными работницами.

– Но мы дали вам ясли в девятом, – перебивает председательница, возвышая голос.

– Это слишком далеко. Мы не можем бежать туда на рассвете с нашими детьми. Мы не можем опоздать к гудку.

– Но у нас нет денег!

Ропот покрывает это заявление. Враждебные восклицания, страстные жесты.

– Тсс... Тсс...

Председательница звонит.

Работница упрекает правление в игнорировании жизни, которая меняет свои формы и неуклонно идет вперед. Женщины-работницы осознали свои права. Они проснулись. Они требуют своей доли, своего места. Если они вошли в лигу как равноправные члены, делая взносы из своих трудовых грошей, то не для того, конечно, чтобы любоваться на страусовые перья дам и умиляться унижающей их благотворительностью. Довольно того, что их эксплуатируют на фабриках! Они не отказываются от работы. Они высоко несут голову

в сознании, что трудятся наравне с мужчинами. Они не согласились бы быть паразитами, если бы вдруг лицо общества изменилось. Но для своих детей они требуют, не просят, а требуют безопасности.

Ее перебивают аплодисментами. Председательница звонит. Секретарь тонко улыбается, глядя вниз. Глинская экспансивно кивает головой, обернувшись к оратору. И перо на ее шляпе тоже кивает не в такт.

Работница поднимает руку, требуя внимания. Она еще не кончила. Она заявляет, что потеряв веру в эту буржуазную лигу, только на словах защищающую права женщин, она и целая группа ее товарок решили покинуть это мертворожденное Общество. Они вступают в новую лигу, единственную, которая обеспечивает свободу женщине, которая даст ей проблеск впереди, надежду на развитие ее личности, единственную, которая не превращает ее в слепую машину. Это «Ligue de la Régénération Humaine»¹⁴..

– Что такое? – громко вскрикнула Соня.

Ропот проносится по залу. На этот раз симпатии отхлынули от оратора. Лицо председательницы надменно и брезгливо. Глинская неодобрительно качает головой. В авторе «Свободной Любви» сказала семитка, преклоняющаяся перед материнством.

¹⁴ «Лига Возрождения человечества» – основана Полем Робеном, пропагандировала неомальтузианство в рабочей среде. Из пропагандисток этого учения были наиболее известны Нелли Руссель и Жанна Дюбуа.

Дениза вызывающе смеется.

– О, я хорошо знаю, что шокирую почтенное общество! Франции нужны солдаты, фабрикам нужны рабочие. Но, дамы и господа, мы все тоже были верными детьми церкви в юности и вступали в брак, чтя обряды. Мы любим наших детей. И если отказываемся теперь от радостей материнства, то уж, конечно, не для того, чтобы откладывать побольше в копилку, как это делают почтенные буржуа. И не затем, чтоб наслаждаться досугом, посещая портних и театры. Наши дети брошены на произвол судьбы. Они сгорают у очага, падают с шестого этажа, ползают в грязи дворов, дышат миазмами, голодают. На улицах их давят ваши автомобили.

– Ш... ш... – раздается неодобрительный свист.

– C'est trop fort...¹⁵ – громко говорит на первой лавочке представитель министерства. Но шиканье снова покрывает взрыв аплодисментов.

– Смотри, Соня! Смотри на старушку. Вот прелесть.

Она стучит своей палкой в знак одобрения. Она вся на стороне оратора, хотя сама, наверно, живет в собственной вилле. И среди карет с ливрейными лакеями, которые девушки видели у подъезда, одна несомненно принадлежит этому угасающему отпрыску старинного рода.

Работница кончает свою речь так:

– Но ведь не об одних детях идет речь. Пора и о себе подумать! Роди, пеленай, обмывай, обшивай да еще и зарабатывай.

¹⁵ Это уж слишком! (франц.).

вай на них. А жить-то когда же? Когда читать? Развиваться? Нет, довольно рабства! Одного ребенка на ноги поставить можно. А наплодишь четырех, всех по миру пустишь. Что выиграет от этого общество? Обеспечьте сперва хлеб нашим детям, а уж тогда и обвиняйте в безнравственности тех, кто не хочет их иметь!

Она садится, шум вокруг не умолкает.

– Прошу слова! – снова раздается молодой женский голос.

– Кто эта Lise? – быстро спрашивает Соня, наклоняясь над стулом Глинской.

– Работница и девушка-мать. Предыдущий оратор – замужняя женщина.

– Так хорошо одета?

– Она в белошвейной закройщицей. Сравнительно много зарабатывает. Но все, что вы на ней видите, белье, платье, даже шляпа – сделаны ею самой.

Но этот ток изящен и красиво оттеняет белокурые по моде причесанные волосы Lise. Она бледна и худа, но миловидна, и фигура ее стройна. Звонким юным голосом без тени враждебности, все время как бы шутя и вызывая смех шутками, она говорит, что явилась защищать не права законных детей, как госпожа Дениза Леклю. А увы!.. права незаконных. Но пусть не шокируется высокопочтенное общество безнравственностью этого заявления! Выйти замуж без приданого нелегко. Молодость требует своего. А мужчины очень забывчивы. И не узнают своих детей, если даже дети похожи

на них, как две капли воды.

Легкий смех слышен в зале. Лицо председательницы покрыто пятнами, и рука с черепаховым лорнетом заметно дрожит. Глинская опять энергично кивает, глядя на ораторшу, и белое перо на ее шляпе не поспевает за движениями головы.

Соня злится. Это ее отвлекает.

– Мужчины забавляются, женщины расплачиваются, – продолжает Lise. – В Париже не одна тысяча малюток, лишенных отца, и жизнь их всецело зависит от заработка матери. Но надо надеяться, что высокопоставленное общество, принимал новых членов, не будет разуживать об их нравственности и о прошлом трудящейся девушки? А если оно признало их равноправными с теми, кому посчастливилось найти мужа, то нельзя ли уделить немного внимания и этим *bâtards*¹⁶?

– Чего же вы хотите? Говорите короче! – с еле сдерживаемым раздражением перебивает председательница.

Lise все в том же шутиливо-колком тоне напоминает правлению, что не раз уже ему подавались петиции с просьбой открыть еще приют для этих детей. Тех, что имеются, недостаточно.

– В вашем округе уже есть приют *Sacré-Coeur*?

– О да, сударыня... Но монахини требуют от матери брачного свидетельства.

– У нас нет средств, мадемуазель... Из отчета, который вы

¹⁶ Незаконнорожденным (*франц.*).

заслушали...

– Pardon... У вас нашлись средства, чтоб приютить двадцать старух и обеспечить их до смерти? Правда, они все религиозны. Мы же не ходим к мессе.

В зале движение и смех.

– Правда, что они уважают аристократию и враждебно относятся к республике. А при слове социалист осеняют себя крестным знамением.

Опять смех, уже громче.

– Оставим личности! – перебивает председательница. – Старух нельзя выбросить на улицу. Они неспособны к труду.

– Но и дети неспособны. А между тем – хотя они только *bâtards*, – не в них ли будущее страны? То лучшее будущее, для которого мы все живем и боремся?

Ее прерывают рукоплесканиями. Больше всех волнуются работницы. Гул и ропот одобрения долго не смолкают в зале. И звонок дребезжит непрерывно.

– Чего же вы хотите? – настаивает председательница.

И Lise говорит о том, как хрупко и шатко в современном обществе положение девушки-матери и ее ребенка. Малейшая случайность, болезнь... И она выброшена из колеи. Нет заработка. Страдает дитя. Широкими, беглыми мазками Lise набрасывает эту картину, и голос ее дрожит и неотразимо волнует публику. Видно, что все это пережито ею лично. Маня слушает с бьющимся сердцем.

Lise кончает требованием, чтобы общество, дающее де-

тям низших классов лишь начатки образования, широко открыло бы для них ремесленные школы. Надо выпускать детей, готовых к жизни. Все стоят за брак. Но никто не думает о детях.

Она садится среди криков «Браво».

Старушка в шелковой мантилье, обернувшись всем корпусом к оратору, громко стучит своей палкой. Lise издала кланяется ей и улыбается бледными губами.

– Как хорошо! – восторженно говорит Соня, продолжая хлопать.

Председательница встает. Голова ее дрожит, и колеблется эгрет¹⁷ на ее шляпе.

– Дамы и господа, – говорит она взволнованно. – Я двенадцать лет занимала свой пост. Вместе с герцогиней N. – она кланяется в сторону старушки в мантилье – я была учредительницей этой лиги. Секретарь мой – виконтесса U, и госпожа M, моя правая рука, знают, сколько любви и сил вложила я в трудное дело развития и роста этого Общества... Вы – она смотрит на Lise и брюнетку-работницу – пришли на готовое. Вы внесли сюда дух враждебности и критики. Но критиковать легко. Работать трудно.

Раздаются сдержанные аплодисменты и тотчас гаснут.

– Когда мы с герцогиней и другими членами, всего горсточкой женщин, «буржуазок», как вы говорите, начинали нашу работу, мы встретили глумление прессы, обидное рав-

¹⁷ Перо или букет на шляпе.

нодушие общества, злобные насмешки тех самых женщин, права которых мы защищали. Но к этому мы были готовы. И почти десять лет работали, непризнанные, непонятые, но с верой и любовью, надеясь, что нас поймет и оценит молодое поколение.

В зале движение.

– Надежды тщетны. Мы протянули вам руку в полной уверенности, что общность дела и интересов сгладит социальную рознь, что идея, которой мы служим, перекинет мост над пропастью. Повторяю: надежды тщетны... Эту руку вы отвергли. И я считаю себя вынужденной оставить свой пост.

Крики... «Non... Non... Restez!...»¹⁸ прерывают ее. Она поднимает руку.

– Да, Я его оставляю, с горечью... не хочу этого скрывать. Нелегко покидать стены дома, фундамент которого заложен тобою. Но дело выше человека. Долг выше самолюбия. Вы сказали, что жизнь идет вперед. И вы правы. Дорогу молодым! Они лучше сумеют проникнуться новыми веяниями, чуждыми нашему поколению. Я хочу верить, уходя, что передаю дело в надежные руки.

На этот раз аплодирует весь зал. Старушка опять стучит палкой и удовлетворенно кивает старой подруге.

Председательница звонит. Окрепнувшем голосом, вполне овладев собою, она объявляет перерыв на пятнадцать минут и спускается с эстрады.

¹⁸ Нет... Нет... Останьтесь! (*франц.*).

Она прямо идет среди несмолкающих аплодисментов к тому ряду стульев, где среди «серой» публики сидит герцогиня.

– Вы очень хорошо сделали, моя милая, – ясно слышат Соня и Маня. – Мы, действительно, устарили. Это наш долг...

– Ах, как интересно! – восклицает Соня, держась руками за щеки.

– Пойдемте! Я познакомлю вас с секретарем, – говорит Глинская.

Очаровательная француженка, обласкав темными глазами лица русских, тревожно спрашивает мнение Глинской. Она вся внимание. Видно, что она дорожит отзывом этой женщины. Председательница оказалась на высоте, не правда ли?

– Мне жаль ее, – вдруг говорит Маня. – Я никогда не решилась бы требовать ее отставки. Она делала, что могла. Воображаю, как бесцветна и пуста будет теперь ее жизнь!

– Vous êtes charmante!¹⁹ – растроганно шепчет парижанка.

«Вечно с глупостями эта Манька!» – сердито думает Соня.

– И мне ее жаль, – холодно соглашается Глинская. – Но дело выше личностей. Она это верно сказала. Демократизация лиги именно то, что нужно теперь.

– Pardon... Я должна приветствовать герцогиню, – мягко говорит виконтесса.

Маня, улыбаясь, смотрит ей вслед. Вот она, воплощенная

¹⁹ Вы очаровательны! (*франц.*).

героиня из романа Поля Бурже. Отсюда она поедет на вечер. Он ждет ее там. Завтра они как бы невзначай встретятся у подъезда ее портнихи. Какая чуждая жизнь!

– Хотите, я вас представлю герцогине? – спрашивает Глинская.

– Очень хочу! Она меня умиляет, – говорит Маня.

– Позвольте вам представить русских...

Герцогиня ласково улыбается. Девушки как-то машинально делают реверанс перед старухой.

– Русские студентки? О, славные девушки! Я их искренно уважаю.

Соня уезжает.

Шумно и весело на обеде у Штейнбаха. Здесь и фрау Кеслер с Ниночкой. Соню немного смущает молчаливая фигура старика с жутким взглядом. Первые дни он от нее прятался и обедал отдельно. Но как-то Маня сказала ему в коридоре:

– Милый дядя, не бойся! Она меня любит. Она добрая. Она ничего дурного нам с тобой не сделает.

Соня видит, как Ниночка смело просится к нему на руки и теребит, смеясь, его седую бороду. Она видит слабую тень улыбки на бледном лице маньяка. И тоже старается любезно улыбаться.

Говорят обо всем, что видела и чего не видела Соня в Париже. Потом о Москве, потом о Лысогорах.

– А что подделывает дядюшка? – спрашивает Штейнбах. – Кем он увлекается?

Соня краснеет.

– Как? Вы разве не знаете? Он обожает Лику. Они живут открыто, как муж и жена.

– В одном доме?

– Н-нет. Лика все там же, в больнице. Но они видятся каждый вечер. И... Лика ждет ребенка...

– Так неужели же она серьезно влюбилась? – вполголоса спрашивает Маня, как бы думал вслух.

– А почему бы нет? – со странной горячностью подхватывает Штейнбах. – Он красив и... далеко еще не стар.

– Ах, я не об этом, – задумчиво возражает Маня.

За десертом она вдруг спокойно спрашивает, обрывая виноград:

– Соня, а почему ты ничего не скажешь о Нелидове?

Все словно притаилось и замерло в комнате. Чувствуется, что все растерялись. Кинув быстрый взгляд на Маню, Штейнбах опускает ресницы и старательно чистит грушу. Соня глядит на подругу круглыми глазами. Спокойна, кажется. Только что-то напряженное в ее застывших бровях.

Маня ест виноград и улыбается.

– Господа! Что у вас за лица? Можно подумать, я спросила что-то неприличное. Разве о Нелидове не принято говорить в обществе?

– Да нет... я разве... Ты не спрашивала раньше... пото-

му... Ну что тебе сказать?

– Он счастлив?

– Н-не думаю. Впрочем, кто его знает? Он женился.

– Ну конечно, счастлив, – сама себе спокойно отвечает Маня. – Катя Лизогуб как раз то, что ему нужно. А что он делает? Марк, почему ты мне не предложишь грушу?

– Сейчас очищу. И вам, фрау Кеслер? Или банан, может быть?

– Его выбрали в предводители дворянства осенью. И он очень польщен. Это я знаю от Климова. Потом он строит дом, помнишь, вместо того, что сгорел?

– Как это давно было! – мечтательно говорит Маня, глядя перед собой далекими глазами.

Фрау Кеслер давно спит. И Соня уже засыпает. Они вернулись из Гранд-Опера, и Штейнбах уехал к себе час назад.

Маня сидит на постели в одной рубашке, неподвижная, как изваяние, и белая-белая при нежном свете ночника.

– Соня... прости... я знаю, что ты устала, но ведь ты уедешь завтра...

– Что такое? Что такое?

– Пустяки... я... мне... надо спросить у тебя... Ты не сердишься?

– Что ты, Манечка? Бог с тобой! Успею выспаться в дороге... Я сама рада поговорить. – Соня сладко зевает.

– Ты... видала Нелидова, Соня? – как шелест, звучит роб-

кий вопрос.

Дрема мгновенно рассеивается. Соня подымается на локте. Как выразительна фигура Мани! Плечи сторблены, руки лежат на коленях, покорные. И волосы упали на плечи. И не глядит даже... Вот два пробило. Значит, она не спала совсем? И все думала о нем.

– Помнишь, я писала тебе, когда родилась Ниночка...

– Н-ну?

– Я писала, что нет у меня к нему ненависти... что я... благодарна ему за все.

С захолонувшим сердцем Соня садится на постели.

– Ты ему ничего тогда не говорила?

Теперь она подняла голову. О, жалкое личико! Глаза раненой лани. В них уже не сверкает гордость. Где ее ироническая усмешка? Весь вечер она была так весела. Так задорно смеялась. Казалось такой неуязвимой. Соне страшно чего-то.

– Нет, Маня, ничего я ему не сказала. Ведь он... уже женился тогда... И потому я его так долго ненавидела. Только когда Марк написал мне, что ты забыла его и что ты будешь на сцене, я согласилась встретиться с ним. Это было год назад, на Пасху. Он был у нас с женой, с визитом. Но я с ним почти не говорила, только с Катей. Дядюшка и папа часто бывают у них, – Соня смолкает и ждет. – Ну... что тебе еще нужно узнать? Спрашивай?

– Катя счастлива?

Соня видит, что Маня вытянула руки и хрустнула пальцами. Что сказать? Не может же она бросить Мане в лицо все «интимности», какие эта бесстыдная Катька открыла перед нею. Вспомнить совестно... Конечно, Катя могла приврать нарочно, в расчете, что все это дойдет до ушей Мани. И говорила-то, в сущности, с этой именно целью.

– Плоскодонная эта Катерина ужасно! Конечно, она сияет. Такую партию сделала. Она и за Климова готова была выйти. Ей все равно. Я ее не перевариваю, этот смех ее, голос...

Соня машет рукой и ложится.

– Спи, Манечка! Тебе завтра рано вставать на урок. А ты? Скоро ты повенчаешься с Марком?

Маня молчит. Соне жутко.

– Ты его любишь, Маня?

– Кого?

– Ну конечно, Марка!

– Да... люблю...

– И не разлюбишь никогда? Это уже на всю жизнь? – строго и страстно допрашивает Соня.

– Да-да... Я никого уже не буду любить. С этим кончено.

– Ну, слава Богу! Пора забыть эти глупости. Перед тобой такая чудная жизнь! Сцена, слава... И богатство, Маня! Это тоже много значит. Сколько добра можно сделать на деньги! У тебя дочь, такой друг, как фрау Кеслер. А Марк? Он ангел... и он тебя обожает...

– А ты? – вдруг после долгой паузы доносится тихий во-

прос.

Соня быстро оборачивается.

– Что я?

– Не ревнуешь?

– Вот выдумала!

– Ни капельки?

– Да я... органически на это неспособна, ей-Богу!

– Счастливица!

– Я страдаю, только когда думаю, что ты... ему больно делаешь... И тогда я... правда... тогда я тебя ненавижу... Мания, дорогая... Не терзай его! Выходи за него скорее замуж. Ты не знаешь, как мне больно, когда... Конечно, надо презирать людей и их сплетни. Но когда любишь, то страдаешь невольно от всякого грязного намека. Вот, например, ты сама тянешь со свадьбой, а там говорят, что... это Марк не хочет жениться... И что он никогда на тебе не женится!

– Нелидов? – срывается у Мани. И она бледнеет.

– О, что ты! Нелидов все-таки джентльмен и до сплетен не унижится. А все болтают: дядюшка, отец, мама, Климов. Даже Лика... и та становится мелочной, когда речь заходит о тебе...

– Мне все равно!

– А мне не все равно! – страстно возражает Соня и садится, свешивая босые ноги. – Хотят унижить и тебя, и Марка... Никто не хочет верить, что ты зарабатываешь в немецких журналах.

– Я сейчас почти ничего не зарабатываю... некогда...

– Но ведь ты от брата получаешь на жизнь?

– Конечно.

– А они слышать ничего не хотят! – Соня ударяет кулаком по подушке. – Столько грязи, столько злобы!

– Мне все равно, – устало повторяет Маня.

– Вот, когда я вернусь, я им все скажу... И что через три месяца ты здесь дебютируешь, и что тебе уже предлагали ехать в турне на два года за сто тысяч франков. А Марк отказал за тебя. Это сколько на наши деньги?

– Тридцать семь тысяч, – равнодушно отвечает Маня.

Она ложится под одеяло. Вся жизнь словно ушла из ее лица.

– Но он, значит, рассчитывает, что ты получишь более выгодные условия?

– Да. За один год столько же...

– Вот я им все расскажу, и что ты в первую голову рассчитаешься с долгами. Ах, эта ненавистная Катька! И даже дядюшка не ушел от сплетен. В твой талант он верит... Но любви Марка оценить не может. Ты должна прислать мне все афиши, все отзывы о тебе, все рецензии о твоём дебюте... Бот я им это все кину в лицо... И если кто-нибудь после этого посмеет назвать тебя содержанкой... – хочет она сказать, но спохватывается, – я прерву с ним всякие сношения.

Маня долго молчит. Бьет три. Соня опять начинает дремать.

Вдруг прерывистый и тяжкий вздох, похожий на стон, доносится до Сони. Она открывает глаза.

– Маня... Плачешь?

– Нет... нет... Спи...

– О чем ты думаешь, Манечка? Неужели, неужели... не можешь забыть?

– Скажи мне одно, Соня... Знает он, что у меня есть ребенок?

– Да. Конечно, знает... Я писала ему.

Маня, безмолвная и белая как призрак, подымается на постели.

– Ты... писала? Когда?

– Вот, когда вы уехали в Венецию...

Маня поднимает руки к горлу. Соня опускает ресницы, чтобы не видеть ее взгляда. Любовь это? Или самолюбие? Почему она так страдает?

– Он мне ни слова не ответил. И я узнала только от дядюшки, что он уехал за границу. Весною он вернулся, а женился в октябре.

Маня молчит, поникнув головой, вся подавленная этим открытием.

– Вот видишь, как легко он утешился малым! Ему нужна самочка, как Катя, чувственная, глупенькая, покорная. Из нее он веревки будет вить. Воображаю, какая драма вышла бы, если б вы поженились тогда! Ты бы ушла через год. А еще хуже, если б осталась. Все погибло бы, и твой талант,

и твоя красота. Все к лучшему, Манечка! Марк живет для тебя и тобою. А там ты жила бы Нелидовым. И все ценное в тебе умерло бы незаметно. Манечка, милая, прости! Может быть, жестоко с моей стороны говорить это тебе, но я все-таки скажу. Я это слышала от дядюшки. Нелидов уверен, что Ниночка дитя Штейнбаха.

Маня делает порывистое движение. Но сдерживается и ложится лицом в подушку.

— Не сердись, ради Бога! И забудь о Нелидове. Что он для тебя теперь? Все кончено. У него жена, своя жизнь. Он все о наследнике мечтает. Пусть думает, что это дочка Марка! Так даже лучше. Пусть думает, что ты сама вычеркнула его из своей жизни! И разве ты сейчас не самая счастливая женщина в мире?

Она долго ждет ответа.

Маня молчит.

Опять утро. Весеннее, радостное. Фрау Кеслер крепко обнимает Соню на прощанье. Консьержка привела фиакр и выносит за Соней чемодан. Сейчас они позавтракают у Марка, и он через два часа отвезет Соню на вокзал.

Завтрак оживленный. Дядя не выходит. И оттого еще непринужденнее звучит девичий смех.

Что такое с Маней? Лицо горит. Она выпила на прощанье бокал шампанского. Поминутно нервно смеется.

После кофе, когда подружки на минуту остаются вдвоем,

Маня подходит к Соне и стискивает до боли ее руки.

– Так ты говоришь, что Катя чувственна? Почему ты это знаешь? Откуда ты это знаешь?

Соня молчит, ошеломленная. Что за глаза у нее? Больные, пронзительные, угрожающие, молящие...

– Разве... я... говорила?

– Да, да, ты это сказала ночью. Значит, она сама... тебе что-нибудь рассказывала?

Щеки Сони запылали. Она хочет возразить.

– Не надо! – вдруг жалобно вскрикивает Маня. И затыкает уши.

«Ужас какой! Да она его не разлюбила...»

В этот миг входят Штейнбах и фрау Кеслер. Маня убегает.

Сердце Сони бьется. Хорошо, если он ничего не заметил.

«Бедный, бедный Марк!»

Уехали, наконец! Одна...

Маня стоит в кабинете Штейнбаха. Она сняла испанскую шаль, которую подарил ей Марк в Новый год. Это настоящая испанская шаль, желтовато-белого шелка с вытканными на ней алыми цветами и птицами. Бахрома на ней длинная-длинная. Как она расцеловала Марка в тот день, когда он принес ей эту экзотическую вещь!

Сейчас Маня небрежно бросает ее на кресло. Потом подходит и садится на кушетку.

Ах, она устала! Смертельно устала. Добраться бы только

домой, вытянуться и лечь. Ах, если бы заснуть хоть в эту ночь!

Она обманула Соню. Иза ее не ждет. Но нет уже силы смеяться, там, на вокзале, казаться беззаботной, говорить фразы, бросать вызов кому-то. Всю эту неделю – бесконечную неделю – она играла роль. А в груди дрожали слезы. И тысячи вопросов теснились в душе. Смолчать хотела – ни о чем не спрашивать. Не выдержала-таки. Позор!

Она падает на кушетку лицом вниз.

О, наконец! Наконец. Кто увидит эти слезы? Пусть льются они! Так тихо в доме. Сумерки падают. Какое счастье, что можно плакать! Она устала. Бороться? Идти вверх? По трудной тропинке карабкаться на вершину, не смея отдохнуть, не смея оглянуться? Ах, этот приезд Сони! Сколько всколыхнул он и разбудил.

Страстно рыдает она. Мучительно и сладко. Словно плоть сорвалась в ее душе, и хлынула, затопляя все вокруг в стихийном стремлении, река ее печали.

Но о чем же эти бурные рыдания?

«Счастливица!» – сказала Соня, целуя ее. Разве сама она не считала себя счастливой еще недавно? Разве не жизнь перед нею? Чего не хватает? Искусство, богатство, слава, любовь – все ждет ее впереди.

О чем же плачет она?

Где-то скрипнула дверь.

Старик вышел из своей комнаты в переднюю и поглядел на вешалку.

Все уехали наконец. Но Сарра тут. Вот ее плащ. Ее зонтик в стойке. Ее шляпа.

Он стоит, прислушиваясь.

Кто-то губами коснулся волос Мани...

Она оглядывается. С криком благодарности обвивает руками шею старика. И плачет на его груди.

Ах, все они такие умные! Все они такие достойные. Но они замучили ее.

Вот этот молчит. Он ничего не требует, ничего не ждет от нее. Но знает все. Он почувствовал, что она несчастна и одинока.

О, прижаться к его груди! Сорвать с лица и с души маску! Стать самой собою! И плакать, плакать, не боясь расспросов, не боясь упреков. Эти милые руки, как они нежны!

Ты ничего не расскажешь, знаю. И эта тайна умрет между нами. Только оба мы выиграем от этой минуты страдания. Ты станешь мне ближе их. Ты, непонятный всем, далекий, с твоей загадочной любовью, с твоей темной душой.

Маня приезжает к Изе, вызванная телеграммой. В передней ее встречает Штейнбах.

— Что случилось?

— Приехал директор театра, где ты будешь дебютировать.

Он был на выпускном спектакле, видел «Танец Анитры». Он говорит, что никто не исполнял его так, как ты. Не будь с ним суровой, Маня! Твой успех зависит от него.

Маня входит и сразу видит волнение Изы. Директор встает, идет навстречу Мане и целует ее руку.

Это полнокровный, лысый толстяк с насмешливыми, умными глазами. Он целует ручки у Изы, необыкновенно любезен. И опять-таки из-за его спины обе ослепленные женщины не видят лица Штейнбаха, который искусно ведет свою линию.

– Если *mademoiselle Marion* будет иметь успех, а я в этом не сомневаюсь, *mademoiselle* подпишет контракт на тридцать представлений, по тысяче франков за выход.

– Какая противная рожа! – говорит Маня, когда он уезжает. – Он похож на мясника. Разве он любит искусство?

– Какое тебе до этого дело? Ты его любишь. И этого довольно, *Marion*, какая ты удачливая! Подумать, через что я прошла в твои годы, прежде чем двери такого театра открылись передо мной! Это, конечно, выгоднее, чем турне Нильса.

– Этим я обязана тебе, Иза.

На этот раз креолка задумывается. Словно пелена спадает с ее глаз. Но самолюбие не позволяет ей признаться перед Маней в охвативших ее сомнениях.

Великий день приближается. На всех столбах расклеены

громадные афиши, гласящие о дебюте русской босоножки. Тут же и программа: «Сказка моей души» – трилогия.

I. Любовь. Желание. Жизнь.

II. Разочарование. Отчаяние. Смерть.

III. Пробуждение. Новые грезы. Идеал.

Парижане останавливаются перед афишами. Пожимая плечами, они читают эти странные названия.

Не проходит дня, чтобы в какой-нибудь газете хотя бы в двух строках не упоминалось имя Marion. Репортеры восторженно описывают ее внешность, Изу Хименес, ее школу, желтый салон. Сколько их хотело бы проникнуть в школу, на урок! Но Иза Хименес непреклонна.

Креолка упивается этими статьями. Она опьянела от лести.

По вечерам она читает черной Мими вырезки из газет, которые прячет в шкатулку. И улыбается воспоминаниям. Она уже не критикует Маню. Она предоставила ей полную свободу выбора тем и трактовки. Так лучше.

Репетиции начались. И вот тут-то настало мучение для всех. Директор, капельмейстер, Иза, Штейнбах – все страдают от капризов Мани, от странных, неожиданных перемен в ее настроении. Случаются дни, когда после двух-трех попыток она вдруг опускает руки, опускает губы и заявляет деревянным тоном:

– Не могу. Ничего не могу! Я сейчас уезжаю...

Директор хватается за голову...

Почему? Что за капризы! О, если бы она не была любовницей миллионера Штейнбаха!

А дело в том, что в ложах зала, погруженного в полумрак, появились какие-то тени. Мелькнуло белое перо. Послышался сдавленный смех. Это подруга директора прокралась в ложу и привела своих друзей.

– Скажите им, чтоб они ушли, – говорит Маня.

Лицо директора багровеет.

– Нет. Лучше я уйду! Настроение исчезло. Я не могу танцевать.

Директор ловит в коридоре Штейнбаха.

– Ça n'a pas de nom!²⁰ – говорит толстяк, вздергивая плечами и делая экспансивные жесты. – Артистка должна стоять выше своих настроений. С этим надо бороться. Публика платит деньги и не хочет считаться с нервами и капризами. Mademoiselle Marion должна плясать во всяком настроении. И без него, если на то пошло.

– Она скорее откажется от дебюта...

Выпучив глаза, директор смотрит в надменное лицо.

– Ah monsieur! C'est impossible!²¹ Вы хотите меня убить? Это за неделю до спектакля, когда весь Париж говорит о нем?

Штейнбах садится в автомобиль. Маня ждет его, спрятавшись в уголок от любопытных глаз. А директор чуть не с ку-

²⁰ Это уже никуда не годится! (франц.).

²¹ О сударь! Это невозможно! (франц.).

лаками накидывается на свою Бертю. Неужели она не могла сдержать своей болтовни? И как она смела назвать без спроса постороннюю публику?

Но и Берта возмущена.

– Это не посторонние. Это мои друзья. И репортер «Matin». Он хотел заработать на своей заметке. О, эти проклятые русские! Эти дикарки!

Маня долго молчит. Потшг виновато взглядывает в смущенное лицо Штейнбаха и кладет руку на его колени.

– Не сердиеь, Марк! Я так несчастна. Что я могу сделать с собой? Когда я слышу шопот и смех, у меня точно крылья падают. Чтобы танцевать, мне надо чувствовать связь между мной и теми, кто глядит на меня.

– Но сначала нужно создать эту связь. Надо победить равнодушные толпы. Ее надо завоевать.

– Ах, Марк! Я с отвращением думаю о своем ремесле... Да, ремесле. Творчество живет только в тишине и одиночестве. Толпа ему враждебна. От одного ее дыхания оно умирает. Мне кажется, что только ненависть к этой публике может вызвать у меня подъем. Только жажда победы.

– Твой путь тяжел, знаю. Но его надо пройти. Она молча кладет голову ему на плечо. И, разбитая, закрывает глаза.

А время мчится. И наступает день генеральной репетиции. Даже год спустя, в разгаре своей славы, Маня не может забыть тяжких минут, пережитых ею в этот день.

Она потребовала, чтоб никто из публики не был допущен в театр. Но директор стоит на своем. Он дал слово журналистам. Они создадут успех первого представления. Завтра утром они дадут статьи, и целый месяц толпа будет ломиться в театр. Отказать им сейчас – значит провалить все дела. Они не простят обиды. И неужели ей самой не страшно? Сгубить из-за каприза свою карьеру?

Наконец, его собственная труппа и артисты других театров? Они не могут платить такие деньги, какие бросает публика. Они – свои. Не пустить их на генеральную репетицию, не разослать приглашений другим театрам – значит нарушить все традиции, нажить себе врагов. На это он не пойдет.

Иза, Штейнбах, Фрау Кеслер, все убеждают Маню в том же. Она уступает. Но чувствует себя жалкой, ничтожной.

Когда она едет в театр, ее знобит.

– У меня такое чувство, – говорит она Изе и Штейнбаху, – точно меня сейчас разденут догола и выставят на показ.

По настойчивой просьбе Штейнбаха зал тонет в полумраке. Освещены только сцена и оркестр. Все этим недовольны. Актрисы мечтали показать свои туалеты.

Занавес взвивается над пустой сценой, задрапированной темным сукном. В оркестре раздаются звуки.

– Eh bien, mademoiselle?...²² – шепчет директор.

Маня кидает бессознательный взгляд на его взволнованное лицо. В ней самой все оцепенело. Как-то машинально

²² Ну так что, мадемуазель? (франц.).

она выходит из-за кулис. И останавливается.

Напряженная тишина царит в зале. Да разве это зал? Это черная пасть притаившегося чудовища. В ложах смутно мелькают какие-то призраки. Здесь где-то Иза и Марк, ее единственные друзья во враждебном, огромном городе. Внизу, в полумраке, смутно шевелятся тени. Репортеры, рецензенты, актеры и актрисы. Все враги, завистники. Все конкуренты. Беспощадные, предубежденные, не верящие ничему в своем житейском опыте. Профессионалы и ремесленники, циники и пустые души. Пышным цветом распустилось в них одно большое тщеславие. И, как сорная трава, оно задушило все нежное, все красивое и благоуханное, что там цвело когда-то.

О, Маня знает, с кем имеет дело! Эта толпа страшнее той, что придет завтра.

Она думает это, стоя в глубине сцены. И ее собственная душа пуста.

«Боюсь этих людей? Да. Но ведь я их презираю?»

Все молчит. А страх растет. Стряхнуть оцепенения она не может.

Вдруг отчаянное лицо капельмейстера попадает в поле ее зрения...

«Почему он так бледен? Кажется, он делает знаки? Мне? Разве уже пора начинать? Но начну? Я не могу двинуться. У меня словно гири на ногах и камни на груди». «Все пропало», – говорит кто-то на дне ее души.

Странная и жуткая минута.

Капельмейстер два раза начинает прелюдию. Играет ее всю до конца. А она стоит, полуобнаженная, как вакханка, с тигровой шкурой на плечах, в венке из виноградных гроздьев.

– Что же это такое? – с искаженным лицом кричит ей директор из-за кулисы. – Почему вы не начинаете?

Она расслышала и оглядывается.

– Не могу. У меня нет настроения, – громко и спокойно говорит она.

– К черту настроение! Если его нет, танцуйте без него.

– Не могу. Не стану.

Ее слова расслышали все. Зал дрогнул. Мрак шевельнулся. Маня это почувствовала.

– Какой скандал! – говорит кто-то внизу. – Она смеется над нами?

– Нет, это интересно.

– Да кто ж так держится на генеральной репетиции? Ведь это тот же спектакль.

– Хуже.

– Какая дикарка!

– Напротив, настоящая артистка.

– Тсс... Тсс... Где-то звучит смех.

Сердце Мани дает толчок. Глаза загораются ненавистью. Слава Богу! Вот этого вызова ждала ее оцепеневшая душа.

Маня видит как во сне какую-то белую призрачную фигу-

ру, которая мечется в ложе бельэтажа, перегибается и делает отчаянные знаки.

«Иза... – И теплая волна вливается в душу. – Иза страдает... Сейчас, сейчас...»

Просто, как у себя дома, она подходит к оркестру и говорит:

– Сыграйте еще раз все. Все, с начала до конца!

И закрывает глаза. И с закрытыми глазами медленно, как лунатик, идет по сцене, чего-то ожидая, глядя в свою душу, стараясь забыть о чужих и враждебных людях.

Вот... вот... знакомые звуки...

Перекинулся воздушный мост от одного берега к другому. От плоской действительности к стране вымысла. Задрожал и загорелся, как радуга. Ах, радуга над Земмерингом! Во мраке дрожит и переливается воздушный мост. Грезы сходят по нему на землю. Сны обманувшихся. Счастлив тот, кто их видит!

Звуки в оркестре зовут.

Она закружилась по сцене в какой-то медленной, странной, но ритмической пляске, полузакрыв глаза, простирая вперед руки. Волна забвения. Она поднялась... Идет... Сейчас подхватит. И в ней утонет ее страх, ее презрение к себе за этот страх. Утонет все.

Вот она...

Взмахнув руками, с легким криком, Маня понеслась по сцене. И от этого крика вздрогнули нервные люди. Так кри-

чат, падая в бездну. И артисты это почувствовали.

Словно шевельнулся опять живой, притаившийся мрак. Но до сознания Мани это уже не дошло. Манящие, загадочные образы поднимаются на темном фоне.

– Bravo! – срываются крики. Раздаются аплодисменты и гаснут. Но Маня не слышит их.

Вакханалия еще не кончилась. Но идея танца ясна каждому. Это любовь и забвения на празднике Диониса. Чем-то стихийным, безумным веет от ее лица, от взмаха рук, от жестов. Вдруг резкий аккорд, полный диссонанса. Словно струна сорвалась. И Маня внезапно падает на колени, спиной к публике, перегнувшись назад, с раскинутыми руками, касаясь головой земли. Словно нет у нее костей. Лицо мертвенно-бледное. Глаза закрыты. Алые губы улыбаются.

Весь партер поднялся, аплодируя Из лож веют платки.

– Какая сила ног и легких!

– А вы заметили мимику? И эти руки? Они говорят.

Она выпрямилась и стоит неподвижно. Словно просыпается. Сжались тонкие брови. Огромные глаза печально глядят в полумрак. Сердце бьется как птица. Зачем ее разбудили?

Она бежит за кулисы.

На сцене полумрак. Нежные, воздушные, пронизанные бледным солнцем севера плывут звуки Грига. Все ниже спускаются аккорды.

Ах! Она узнает эти призраки утра. Это туман ползет с гор

в долину. Все ниже сползает он. И вот открылись пики с вечными снегами.

Она идет. Все выше... выше... Внизу, в долине, звенят колокольчики стад. Звучит чья-то песнь. Сейчас все смолкнет. Исчезнут деревья, исчезнут пчелы. Игрушкой будет казаться долина внизу.

Медленно на носках идет она по сцене, озираясь. Она приложила палец к губам. Тише! Ни песен. Ни шума. Вы слышите священное безмолвие гор? Выше, выше... Жизнь осталась позади, с ее докучными звуками, непонятными в царстве Молчания.

Широкие звуки льются волнами в душу. И душа растет... Ничего кругом. Горы, она и Молчание. Долина исчезла внизу, под туманом.

Разве она любила? Разве она страдала? Разве это она жила там, внизу, слабая и трепещущая перед Вечностью, перед Смертью? Разве это она боролась за счастье и гибла из-за любви?

Алый свет вдруг разлился по сцене. Торжественно, мощно гремят звуки оркестра. Маня закидывает голову, широко открывает объятия. О, неведомый простор! О, свобода души! О, солнце, льющее радость.

Она опускается на колени. В глазах дрожат слезы.

В фойе, в коридорах стоит гул. Группа журналистов окружает пожилого плотного человека, с седеющей бородой, зна-

комую Парижу фигуру. Так прочувствовать, так передать Morgenstimmung.

– Для этого надо быть поэтом... Что-то мистическое было в ее игре, в глазах ее. Заметьте, после – *une vraie artiste*²³, – задумчиво говорит знаменитый критик.

Это слово подхватывают репортеры и несут его в толпу.

Иза врывается в уборную и падает Мане на грудь, истерически смеясь.

– Ты меня так напугала, гадкая! Разве артист смеет отказываться? Иметь капризы. Ах ты, безумная Мань-я!

У фрау Кеслер глаза полны слез. А слов совсем нет. Штейнбах тоже молча и горячо целует руки Мани.

– Видишь ты теперь, какая власть у артиста? – говорит Иза. – Я сама слышала, как они смеялись над тобой и ругали. А потом? Ах, Marion, ты не знаешь своей силы! То, что ты пережила нынче, уже не вернется. Это ужасные минуты! Кто из нас их не знает? Но ты привыкнешь. Monsieur Marc так побледнел. Я думала, он упадет. Не правда ли? Как она была прекрасна, monsieur Marc! Но что же ты плясала? Ведь это совсем не то, что мы с тобой репетировали вчера?

– Не знаю, – как во сне отвечает Маня. – Но я рада, что ты хвалишь. Я думала и о тебе...

– Теперь спать, спать, спать! – говорит Иза по дороге домой. – Прими что-нибудь и не думай ни о чем. А завтра лежи

²³ Настоящая артистка (*франц.*).

весь день с закрытыми шторами, не развлекайся ничем. И пей бром. Надо держать себя вот как! В кулаке. Это великий день, Marion. Всю судьбу твою ты держишь в руках.

— И не ешь ничего, — кричит она уже у подъезда своего дома, когда автомобиль поворачивает назад. — Только чашку бульона и крепкий кофе с коньяком. До завтра!

Она исчезает в подъезде.

Когда фрау Кеслер выходит из автомобиля, Штейнбах оборачивается и крепко обнимает Маню. Он целует ее лицо, ее глаза. Молча, нежно, страстно. О, если б создать ей новую жизнь! Создать ей новый мир. Без унижений и страданий, которыми усеян путь средней женщины. Если б дать ей ключи счастья, о которых говорил Ян!

Знойное небо раскинулось над Малороссией. Полевые работы в разгаре.

Нелидов тоже целый день в поле. Он загорел, помолодел. Твердо по-прежнему глядят серые глаза. Как хорошо, что после долгой праздной зимы приходит лето, требующее всего человека, требующее упорного труда, дней без тоски, ночей без грез, каменного сна...

Теперь, кажется, все наладилось. Пятьдесят тысяч, полученные от бельгийцев, не только дали возможность расплатиться с долгами, но и создали известную обеспеченность. Положим, немало пришлось затратить на свадьбу. Разорившиеся Лизогубы ничего не могли дать за дочерью. Да он и

не думал об этом. Больше всего денег ушло на свадебное путешествие и на развлечения в Москве и в Петербурге. Пришлось ради Кати круто изменить жизнь. Принимать гостей, выезжать самим. Но и эти траты не страшны теперь, когда есть на что опереться.

Больше всего его радует строительство дома. К октябрю он его закончит. День за днем следил он за ростом здания, полюбил каждый кирпич в нем. Какой-то символ кроется в его страстной привязанности к этим стенам. Точно укрыться хочет он в них от мрака прошлого. Зажечь огни. Затопить печи. Согреть тело и душу. В новом доме начнется новая жизнь. Его жена войдет хозяйкой в этот дом. Его дети будут бегать по дорожкам парка. И тогда все минувшее покажется сном. Он скажет себе тогда: «Я счастлив...»

Под вечер он стоит у смолкнувшей жнейки. Работы закончены. Доверху полны снопами громадные телеги, запряженные каждая парой крупных волов. Сейчас тронутся. Хорош урожай в этом году!

Нелидов смотрит на небо. Солнце село в тучу, и она медленно растет, по краям окаймленная золотом. Пурпурные длинные пальцы вырвались из-за ее хребта и протянулись по небу. Заалели облака на востоке. Пожаром заката облиты поле, лица женщин, белые плахты, важные морды волов. Даже на землю пали красные блики. Барометр опускается с утра. Как хорошо, что он поторопился с уборкой! Наверно, еще до ночи будет гроза...

Вдали раздается топот. Он смотрит, приложив руку щитком над глазами. Кто-то скачет верхом из усадьбы. Случилось что-нибудь? Мама? Катя?

Он бежит к своей лошади. Она привязана вдали, у одинокого грушевого деревца.

– Что? Что? – с побелевшими губами кричит он. И машет рукой гонцу.

– Барыня... молодая барыня... Анна Львовна за вами послали...

«Так скоро? Неужели сейчас?»

Как хорошо в лесу утром! Париж встает рано. И по всем направлениям едут амазонки, ландо и автомобили. Но Маня знает уединенные аллеи, где не перед кем позировать и красоваться тем, кто в эти часы назначает свидания в лесу, кто ждет флирта и приключений.

Сидя на скамейке, в тени каштанов, Маня говорит себе: «Нынче я никто. А завтра обо мне будет говорить Париж. Что говорить? Не знаю. Боюсь ли я? Конечно. А если успех? Марк пошлет газеты Соне. Та напишет матери в Лысогоры. Как далеко! Точно на том свете. Дядюшка запряжет лошадь и поедет в Дубки. И за чайным столом прочтет перед Нелидовым и его женою о моем дебюте...»

И только когда день погас, Маня задрожала перед Неизвестностью.

На шоссе запел автомобиль.

«Марк едет. За мною? Разве пора?»

Она растерянно хватается за вещи, забывая, что взять, что оставить.

– Уложила. Все уложила! – говорит фрау Кеслер. – Вот картон. Вот сумка. Ах, Марк Александрович, здравствуйте! Возьмите вы эту сумку. Она ее забудет.

Господи, что за несчастное личико! Он целует Маню.

– Марк? Неужели пора?

– Да, Маня. Опоздать нельзя.

– А если б я заболела, Марк?

– Но ведь ты здорова.

– А если б Нина заболела, то и тогда я должна...

– И тогда, – холодно перебивает Штейнбах.

– Тьфу! Тьфу! Глупая, чего накликаешь беду? Возьми себя в руки.

Легко сказать! Когда душа сжалась в комочек.

Маня идет мимо кулис. Толпа рабочих в синих блузах расступается перед нею.

– Elle est belle,²⁴ – говорит кто-то.

Странно! Она это слышит и останавливается. И улыбка вдруг загорается в ее лице. Улыбка, и радостная, как будто она увидела цветы. Взгляд ее падает на молодого черноволосого рабочего. Потемневшими от восторга глазами смотрит

²⁴ Она прекрасна (франц.).

он в ее зрачки.

Тоска и страх падают с души, как вериги. Она смеется.

– Дайте мне руки на счастье! – говорит она рабочим. И протягивает им свою. Они смущенно жмут ее пальцы.

– Mademoiselle... Сейчас поднимают занавес, – говорит директор, оглядываясь.

– А вы меня увидите? – спрашивает Маня черноволосого рабочего.

– Нет, сударыня.

– Почему?

– Мы не буржуа. Для нас нет места в театре. Нетерпеливые хлопки и стук несутся из зрительного зала.

Директор сердито оглядывается на рабочих и машет рукой помощнику.

– Давать занавес? – кричит тот.

Маня оборачивается к директору, надменная, полная самообладания.

– Я хочу, чтоб эти люди меня видели! – говорит она резко и твердо.

Полнокровное лицо директора заливается краской. «Опять выдумки и капризы».

– Вы смеетесь надо мной? Где же у меня места? – в повышенном тоне спрашивает он, сцепив руки. Он приподнимает плечи, и в них тонет его короткая шея.

– Если они меня не увидят, я отказываюсь выйти.

И по опыту вчерашней репетиции директор чувствует, что

эта сумасшедшая способна на все. Надо уступить.

– Allez! Là!²⁵ – свирепо выкатывая белки, бросает он рабочим. И показывает куда-то влево, вниз толстым пальцем театрально вытянутой руки.

С радостным смехом рабочие бегут, толкаясь. Исчезают.

«Я буду думать о них. Для них буду плясать», – говорит себе Маня, улыбаясь.

– Вы готовы, mademoiselle? – нетерпеливо спрашивает помощник. – Нельзя больше ждать. Вы слышите публику? Я даю занавес.

Она молча наклоняет голову. И слышит глухой шуршащий звук.

Музыка слышится в оркестре. Она опять-таки условилась накануне с капельмейстером, что, стоя за кулисами, выслушает весь «Полет Валькирий», прежде чем показаться.

Но она выходит неожиданно. Она не крадется вдоль стены, как Дункан, с ее слащавой, неестественной, как бы молящей улыбкой. Она ни о чем не хочет молить. «Зверь хищный и загадочный, я тебя не боюсь!» – говорит в ее душе какой-то голос.

Она останавливается в глубине сцены и, сдвинув брови, опустив руки, закинув голову, глядит вверх. Выше этих черных голосов, наполняющих галереи. На фрески потолка.

Реклама сделала свое. Театр переполнен. И за тройные цены парижанин хочет получить удовольствие сполна. Ему

²⁵ Идите! Туда! (франц.).

обещали красавицу. Но уж это ложь. Даже под гримом красоты особой нет. Да разве удивишь парижан красотой, когда они знали Клео де Мерод и прекрасную Отеро? И публика уже насторожилась, несогласная простить хотя бы один промах.

А Маня смотрит на фрески и вспоминает Венецию. Старый дворец. Лицо Лоренцо. Рыжую женщину. Свои страдания. Свою любовь. Вспоминает ту лунную ночь, когда душа ее разбилась вдребезги. И, подняв руки к небу, она молила послать ей грезу о невозможном. Подарить ей сны вместо жизни.

Вот они... вот... Затрепетали крылья, рассекая воздух. Крылья бессмертных Валькирий.

И вдруг, раскрыв широко объятия, Маня улыбнулась им. И понеслась сама рядом с ними – вся порыв, вся жизнь...

Все ниже и ниже легкие, трепетные звуки.

И Маня падает, как подстреленная птица, лицом к публике, неожиданно и легко, как будто сложив внезапно крылья. И, сдвинув брови и опершись на локти, она глазами сфинкса, огромными и таинственными, смотрит в лицо толпе.

Пораженная неожиданностью, публика партера экспансивно поднялась со своих мест: одни – чтоб дать волю чувству, другие – чтоб видеть лицо Мани. И весь зал дрогнул от криков и рукоплесканий.

Из письма Штейнбаха к Соне

...Вы не поверите, какое впечатление произвела она, изображая собственную драму, пережитую ею когда-то, эти сумерки души, ужас надвигающейся смерти. Где взяла она эти жесты? Эту потрясающую мимику? «Она Дузе балета», – пишет о ней знаменитый критик, рецензию которого я вам высылаю. И здесь нет преувеличения.

...Прощайте, Соня! Я счастлив. За всю долгую и бесцветную жизнь я не имел таких минут.

Знали вы или нет, дорогой друг мой, что я наметил себе эту цель давно, почти три года назад. Я вез Маню полумертвую, побежденную любовью; в буквальном смысле слова потерявшую сознание от жестокого удара, оглушившего ее. Я вез ее в Венецию, чтоб создать ей новый мир. И часто я падал духом от сознания, как тяжела моя задача и как слабы мои силы! Женищину, живущую чувством, девушку, созданную для любви – нежную и мечтательную, ревнивую и страстную, – я решил вырвать из-под ига любви. Я бросил вызов этой грозной силе и нарисовал перед Маней величавый и вдохновенный образ Мечты. Я вел ее более двух лет на высокую башню, чтоб она забила все, чем жила, чтоб золотистые дали раскрылись перед нею. И сколько раз дрожали ступени под ее ногою! Сколько раз падала она в слезах, страшась своего бессилия.

Цель достигнута. Еще несколько ступеней. И лица ее коснется ветер, свободно веющий на вершинах.

Она еще идет...

Освободилась ли ее душа? Сможет ли она гордо взглянуть в лицо любви, перед которой падала ниц недавно? Не знаю. Не знаю ничего. Женищина, живущая чувством, с ее фантазией и темпераментом, увлечется еще раз. Она может вновь пережить безумие любви. Я к этому готов, Соня. Все, что обогатит и расширит ее творчество, должно быть ценным для тех, кто любит ее. Надо уметь вовремя сойти с дороги. Вот мудрость, которой она ждет от меня, быть может, бессознательно.

Но важно здесь не то, что будет дальше со мною... Важно, победит ли она теперь в этом страшном поединке с врагом, который зовется Любовью? Приручит ли она ее, как зверя, теперь, когда у души ее выросли крылья? Или ее трогательная и упорная борьба в течение стольких лет, ее стремление и искания разобьются о подводный камень, об этот страшный инстинкт, толкающий вас, женищин, на рабство и самозабвение?

Боюсь об этом думать. Пришлите нам из далекой Украины ваш ободряющий привет, дорогая Соня, вы, с вашей цельной и ясной душой, отданной не одному, а всем, ей, идущая в гору без усталости и колебаний. Ви, свергнувшая иго любви!

Ваш Марк

Р. С. Устройте так, чтобы все рецензии попали на глаза Нелидову и его жене. Посылаю единственные открытки с ее портретами, которые успел захватить в магазинах. Все уже раскупил Париж.

Из дневника Мани

Нейи

После двух лет молчания я открыла старую тетрадку. Глаза мои падают на эти строки:

«В последнюю ночь в Венеции, где я хороню мое прошлое и начинаю новую жизнь!..»

И вот опять я стою на пороге Нового.

Завтра... Что несет с собой это завтра? Новые стены. Новая мебель. Новые лица. Незнакомые переживания.

Прощай, моя комнатка! Я уйду из тебя, тихое предместье. Не будет садика, террасы, лунных ночей и безмолвия. Не будет тишины даже ночью... Я не сяду уже в трамвай. И не помчит он меня, трепетную, нетерпеливую, в квартиру милой Изы, где ждал меня прекрасный Нильс...

Прощайте и вы, мои безвестные спутники: бедняки чиновники, обремененные семьей; беспольные конторщицы с увядшими лицами и угрюмыми глазами; миловидные модистки с робкими улыбками. Каждое утро мы мчались в трамвае в Париж. Вы к вашему тусклому труду. Я к моей упорной работе.

Теперь прощайте, случайные спутники жизни! Наши дороги уже не пересекутся. Никогда.

Я плачу. Каждый камень этих бедных стен я хотела бы поцеловать. Обнять каждое деревцо чахлого палисадника. Не здесь ли росла моя душа? Моя несчастная душа, растоптанная Николенькой? Не здесь ли мое сердце, оскорбленное изменой Марки, научилось видеть врага в Любви? В этой любви, что была моим богом?

Если б эти деревья вдруг заговорили! Если б ожили эти камни. Какой страстный крик тоски кинули бы они далекому небу! Безмолвно глядят в наши искаженные лица эти знакомые вещи, окружающие нас. Эти стулья, книги, кровать, картины. Бесстрастно внимают они нашим рыданиям. Только их не стыдимся мы в часы отчаяния. Только перед ними нет у нас тайн. И если б они заговорили...

2 часа ночи

Ты всего достигла...

О чем же ты плачешь?..

– Что с тобой было вчера, Маня? Штейнбах целует ее руку и ставит цилиндр на стул.

Маня лежит на широкой софе, в светлом пеньюаре. На столике рядом белеет свежий номер «Illustration»²⁶.

– Ты провела дурную ночь?

²⁶ Французская газета, выходившая в начале XX века.

– Да. Я иногда страдаю бессонницей.

– Быть может, эта усталость отразилась вчера в твоём танце?

– Ты заметил? – быстро перебивает она. И бледные щеки окрашиваются на мгновение.

– Ещё бы! Кто этого не заметил? Об этом говорит вся пресса.

– Я не читаю газет...

– Зато я их читаю. И каждый отзыв меня волнует. Твоя слава мне всегда была дороже, чем тебе, странная ты женщина!

– Артист должен верить только себе...

– Конечно. Но если бы ты танцевала среди пустых стен, ты имела бы право не считаться с чужими мнениями. Когда же публике вместо талантливой балерины показывают автомат... или лунатика...

Она вдруг оборачивается к нему, опираясь на локоть.

– У тебя иногда бывают счастливые идеи, Марк, – сухо смеется она.

Его матовые щеки краснеют.

– Ты хочешь сказать...

– Что я не создана для сцены? Что артист всегда ремесленник. Вот тайный смысл твоих слов. Его вдохновение, слезы, улыбки, экстаз – все окуплено толпой, все учтено антрепренером. Остается только...

– Творить, Маня.

– Но разве это делается по заказу?

Точно сразу устав, она опять падает на подушки и закрывает глаза.

Он молча глядит в это лицо, опять для него новое, опять чужое.

За эти полгода, что она стала артисткой, они видятся каждый день, хотя и живут врозь, по желанию Мани. Она наняла прелестную виллу, и он иногда просиживает там до вечера, всегда необходимый ей – и в жизни, и на сцене. Ее лицо – его барометр. Когда она весела, светит солнце. Она хандрит, и жизнь темнеет. Он думал почему-то, что изучил наконец эту изменчивую душу, это изменчивое лицо. Он видел его в моменты высшего экстаза, на сцене и в те интимные минуты после спектакля, когда она почти без чувств лежала в уборной. Или дома здесь, когда она играла с Ниной и сама становилась ребенком. Или когда глаза ее, темные от желания, останавливались на нем. Но лучшие часы были у него, в его старом тихом доме. По дорожкам заглохшего сада бродил тяжелыми шагами одинокий, безумный старик, ища чего-то, куда-то спеша; создавая себе иллюзию жизни в этом бесцельном движении, разряжавшем его энергию. Шторы были спущены, двери заперты. И в прогретой атмосфере странно красивой комнаты под звуки его импровизации, лежа у камина на тигровой шкуре, в греческой белой тунике с обнаженными руками, Маня грезилась. И образы вставали перед нею. И реяли мечты. И огромные глаза глядели в огонь. И видели

там целый мир.

Свой новый мир.

И эти минуты таинственного творчества, мучительно-сладкого, напряженно-страстного, были так прекрасны, так жутки, что Штейнбах тоже отрешался невольно от действительности. Он переносился в загадочный мир, полный символов, намеков, полутонов, где движение бровей или опустившийся уголок рта говорят яснее, чем сонет или рассказ. Где порывистый жест страстно раскинутых рук или поникшая головка становятся криком радости или поэмой страдания. О, этот новый, странный мир, который она находила в собственной душе, к которому она приобщила и его! Казалось, действительно, их души шептались в эти странные часы. Их души сплетались теснее, чем их тела в любовном экстазе. И только тогда, в эти сказочные минуты, он с гордостью мог сказать себе: «Маня – моя!»

И, как бы бессознательно чувствуя зависимость своего настроения и творчества от звуков его игры, она вдруг с криком счастья кидалась ему на грудь. И отдавалась ему в самозабвении, как в первый вечер, два года назад, в этой комнате, когда бог творчества впервые вошел в ее душу.

Но за эти полгода он видел не только радости художника. Он был свидетелем страданий. Как часто неудовлетворенная, бессильная облечь в образы то, что звучало ей из его игры, Маня падала на пол и плакала иступленно, и рвала на себе волосы, и гнала его от себя с ненавистью, и твердила,

что она – бездарность.

И все-таки, все-таки он не знает ее!

Вот это новое выражение усталости и пресыщения, которое старит ее и делает чужой и некрасивой. Откуда оно? Не может быть, чтоб одна бессонница могла вызвать такую перемену! Но что же тогда? Что?

Машинально он берет со столика газету.

– Оставь! – резко говорит Маня. И поднимается на подушках.

Он ошеломлен в первую секунду. Затем губы его кривятся.

– Нет, я возьму! – говорит он. Встает и высоко поднимает над головой журнал. – Это нелепость. Почему именно я не смею смотреть то, что миллион людей уже видели нынче в Париже?

Но она и не думает бороться и отнимать. Она опять опускается на подушки и закрывает глаза. Однако он чувствует, что это только поза, что она вся насторожилась.

Он садится и с возрастающим интересом перевертывает первую страницу. Крупными буквами отпечатано: *«Трагический случай в Елисейских полях. Опять анархисты!»*

Затем три снимка: первый – с убитых бомбой, как они лежали на песке. Острый профиль, удивленно раскрытые губы. Брови сдвинуты от страдания. Второй изображает арестованного вчера человека, подозреваемого в сообщничестве. Нерусский тип и незначительное лицо. И, наконец, порт-

рет анархиста, того, с оторванными ногами, два часа спустя после его смерти. Лицо юное, гордое, поразительно торжественное, с тесно сомкнутыми губами. Они словно отказываются выдать тайну, которую у них выпытывают. Чуть сжатые, но уже властные брови говорят о несокрушимой воле, как и линия губ, как и линия подбородка. И все это – скрытое в жизни, незаметное в повседневности среди улыбок, робких взглядов и тихого голоса, которыми, быть может, обладал этот человек с нежным безбородым, почти женственным лицом, – вдруг проступило в смерти, вдруг запечатлелось на высоком лбу, в тесно сжатых губах, в длинных опустившихся ресницах. «Вы меня не знали», – как будто говорит это лицо всем близким, всем встречавшим его. Казалось, за эти два часа это лицо прожило целую жизнь. И она вскрыла все таившиеся в нем возможности. На первом рисунке мальчик. На втором – личность.

Грустно и долго смотрит Штейнбах, захваченный трагической красотой Смерти. Он думает: «Каждое мертвое лицо – это окно, из которого глядит на нас Вечность».

– Ты была вчера там? Я это прочел нынче в «Figaro».

Она делает нетерпеливый жест. «Никуда не скроешься!» – говорит ее брезгливая гримаса.

– Ты в первый раз видела так близко мертвеца?

– Я видела мертвого Яна.

– А!

Он бросает журнал на стол и придвигается к кушетке.

Маня лежит в профиль к нему. Ресницы подняты. Она глядит вверх.

– Будь Ян жив, Маня, он первый осудил бы этого безумца. Он всегда был против террора. Слишком ценил он жизнь, чтобы сеять смерть. Смерть ненужную и жестокую... Разве тебе не жаль этого газетчика?

– Я об этом не думала. Его все жалеют и без меня. А кто пожалеет «безумца»?

– Надеюсь, это не террор тебя привлекает? Трагизм обстановки! За своим настроением ты не видишь жизни, чужой жизни. Ты верна себе, – добавляет он мгновение спустя, не дождавшись ответа. И в голосе его чуть заметна горечь.

– Я не могу нынче танцевать, Марк, – вдруг слабо и жалобно говорит Маня. – Моя душа пуста.

Он встает, изумленный. Но она вдруг оборачивается к нему, садится на кушетку. Потом быстро спускает ноги и говорит, прижимая руки к груди знакомым ему жестом:

– Не спорь со мной! Не возражай! Не говори общих мест, что надо взять себя в руки, что контракт, публика. Все это не имеет для меня ни малейшей цены. Для истинного художника не существует контракта. Нельзя ни купить, ни оплатить, ни закрепить его настроения, его фантазии. Марк, я нарушаю контракт. Я ни одного раза больше не выступлю в Париже.

– Полно, Маня! Это истерия. Ты расстроилась. Ты больна. Через неделю это пройдет. Я сделаю анонс завтра во всех

газетах. Нельзя так поддаваться настроениям!

Она встает, кидается ему на грудь и прижимается к нему, как бы ища спасения от чего-то жуткого...

– О, молчи! О, помолчи, Марк... Прислушайся к тому, что я переживаю. Будь чутким... каким ты был раньше.

Он гладит ее по голове.

– Что случилось, Манечка?

Не переставая его обнимать, она откидывает голову. И он видит в глазах ее ужас.

– Не знаю, Марк. Но что-то новое вошло в мою жизнь за эти сутки. Что-то страшное. Умирает то, что жило и смеялось вчера. Лохмотьями кажется все, что еще утром казалось прекрасным. Я боюсь, Марк, что я опять потеряла себя.

Он садится рядом с нею, на кушетку. Ее голова лежит на его груди. О, бесконечно дорогая головка!

– Если ты прежний Марк и чувство твое не изменилось, не спрашивай меня сейчас! Я все скажу потом... Но устрой так, чтоб я не выступала здесь ни разу. Что надо для этого? Отдай мои бриллианты, меха, кружева, обстановку.

– Перестань! Это все вздор!

– Я знаю, что надо что-то платить, какую-то неустойку...

– Все будет сделано. Не беспокойся.

– О, Марк... Друг мой! Как мне ле... легко... те... перь...

Упав лицом в подушки, она рыдает.

Он стоит молча, взволнованный. Он так давно не видел ее слез. С Венеции. Ему казалось, что целая жизнь прошла за

эти два года и что новая Маня разучилась плакать. Он видел порывы ее отчаяния, когда ей не удавалась работа или когда процесс творчества шел слишком медленно. Но это было не то... Какие иллюзии она хоронит опять?

Беззвучный и неподвижный, выжидает он, когда минует кризис.

Звонят. И красивая вертлявая Полина тихонько стучится в дверь.

– Мадам будет принимать?

Она подает Штейнбаху две карточки.

– Сотрудник «Matin» и... Маня, это директор.

– Все равно, Марк. Я не выйду... Мне никто не нужен...

Пусть оставят меня в покое!

С озабоченным, сразу постаревшим лицом Штейнбах выходит в салон к посетителям.

– Ушли? – через полчаса спрашивает Маня, когда дверь открывается. Она все еще лежит. Но лицо ее спокойно.

– Это будет большой скандал, Маня. Но я им обоим заявил совершенно бесповоротно, что ты больна, платишь неустойку и покидаешь Париж.

Она сверкающими глазами глядит на него и улыбается.

Он ходит по комнате, задумчивый и тревожный.

– Знаешь, что мне сказал сотрудник «Matin?» «Я не удивляюсь, – сказал он. – Я видел вчера лицо madame там, перед трупом. Это отразилось на ее нервах. Она не должна была

смотреть в это лицо».

Маня приподнимается.

– Он это понял? Он?

– Как видишь...

– И завтра... он это... расскажет Парижу?

– Конечно...

С жестом отвращения она закрывает глаза.

– Куда уйти от людей, Марк? – шепчет она с тоской.

– Уедем нынче в Тироль! У нас две недели до твоего выступления в Лондоне. Ты отдохнешь.

Она думает. Потом взгляд ее падает на «Illustration».

– Нет, Марк. Подождем немного, еще немного.

Без стука в дверь и доклада входят фрау Кеслер и бонна с Ниной на руках.

– Мы едем в лес. Погода чудная, – говорит фрау Кеслер, здороваясь со Штейнбахом.

Нина тянется к нему и сердито бьет маленькими ножками бонну по животу за то, что та повернула к кушетке.

– Ма... Ма... Кх... – кричит она. И прелестно улыбается.

Штейнбах берет ее из рук бонны. Нина вцепилась ручкой в его бороду и звонко, торжествующе смеется.

– Вечно так! – ревниво шепчет Маня, опуская на колени руки, которые тянулись к ребенку.

Он несет девочку к кушетке и наклоняет ее над сердитой Маней.

– Теперь поцелуй му... – примиряюще говорит он.

– С твоего разрешения? – бросает Маня, сверкая глазами.

– Му... – снисходительно лепечет ребенок и подставляет матери щечку.

– Не надо! – говорит Маня, холодно отстраняясь.

– Как ты нынче расстроена! – огорченно замечает он. – Но зачем срывать на ребенке твои нервы?

Девочка равнодушно отворачивается от матери и крепко обнимает ручонкой шею Штейнбаха.

Он осыпает ее поцелуями и спускает на пол. Бонна оправляет на ней платице. Ребенок важно подает ручку фрау Кеслер. Нина идет гулять, не оглянувшись.

– Настоящая женщина! – с горечью срывается у Мани.

– Вся в мать, – подхватывает Штейнбах. И губы его морщатся.

Маня вдруг вскакивает.

– Нина! Ниночка! – кричит она жалобно. И кидается к двери.

Она отворена. Штейнбах видит странную картину.

В салоне Маня опускается на колени перед девочкой. Она страстно обнимает ее, покрывает все ее лицо поцелуями, полными такого отчаяния, как будто в этом ребенке – все, что осталось у нее в жизни.

«Однако это серьезнее, чем я предполагал», – думает Штейнбах с растущей тревогой.

– Му-у... – протестует Ниночка, недовольная тем, что смяли ее лебяжий пух.

– О чем ты плачешь, глупая? – по-немецки спрашивает фрау Кеслер. – Что за сцены перед ребенком?

Маня машет рукой и бежит назад. Она опять падает на кушетку лицом вниз, и плечи ее вздрагивают.

Задумчиво ходит Штейнбах по комнате. Все затихло в доме. И оба они молчат. Но тревога все растет.

Как страшно все неведомое, что грозит отнять у него эту женщину, ее капризное чувство! Все, что грозит нарушить его привычки. О, эта сладость привычки, знакомая только усталым людям! Этот страх перед новизной и переменой.

Утром, на другой день, Маня еще в постели требует все газеты. Ей приносят целый ворох.

– Почему ты не встаешь? – тревожно спрашивает фрау Кеслер, входя в спальню. – Больна?

Маня не отвечает. Словно не слыша, глядит она перед собой в одну точку.

Фрау Кеслер садится на постель.

– Манечка, что случилось? Говори. Тебе будет легче.

Словно просыпаясь, глядит на нее Маня. Потом берет с одеяла газету и протягивает ее. На второй полосе портрет девушки. Она совсем юная, худенькая, с наивными глазами. Прелестная, доверчивая улыбка озаряет это миловидное лицо.

– Кто это? – с недоумением спрашивает фрау Кеслер.

– Возлюбленная того анархиста.

— А, вот что! — Фрау Кеслер с новым интересом разглядывает портрет. — Она еще девочка... И какая милая улыбка!

— Теперь она уже не улыбается.

Фрау Кеслер быстро поднимает голову. Глаза Мани глядят вверх все с тем же выражением.

— Несчастливая! Где-то она теперь?

— В тюрьме, — тем же странным голосом отвечает Маня. — Ее арестовали как сообщницу. Она помогала делать бомбы...

— Она? — В третий раз фрау Кеслер хватается за газеты. Теперь в глазах ее ужас.

— Такая молоденькая... и такая преступница? Ах, как обманчивы лица! Она мне казалась кроткой и женственной. Что за люди пошли! Что им нужно? Такие юные оба...

— И любили друг друга, — вставляет Маня однозвучно.

В час дня, к завтраку, приезжает Штейнбах. Маня лежит на софе в той же позе, с тем же лицом, что и вчера. Как будто для нее жизнь остановилась.

— Ты читала газеты, Маня? — спрашивает он, целуя ее руку.

— Да-да...

— Значит, ты знаешь, какую сенсацию вызвала твоя внезапная болезнь?

— Моя? — Она широко открывает глаза. — Я ничего не читала, — отвечает она после паузы.

— Однако... — Он показывает на ворох бумаги.

Она устало закрывает глаза.

– Ты можешь мне не верить. Но я совершенно забыла, что где-то есть театр и что я артистка...

Он молчит, обдумывая ее ответ. Потом подымает с полу газету. Быстро пробегает статью: «Еще об анархистах».

Он встает, ходит по комнате.

– Маня, уедем. Умоляю тебя, уедем скорее! Я чувствую, понимаешь ли, я чувствую, что надвигается какое-то несчастье. Не знаю, откуда придет оно, в чем выразится? Но со вчерашнего дня я не знаю ни минуты покоя. Уедем в Тироль, где мы были летом. Или туда, где родилась Нина. Вспомни! Ты так любила горы. Мы будем проводить там вдвоем целые дни. И это вылечит тебя.

– Так ты думаешь, что я больна? – задумчиво спрашивает она.

Он в отчаянии берется за виски.

– Я ничего не думаю. Я не знаю, что думать! А ты молчишь.

Он садится в кресло, облокотившись на колени, и прячет лицо в руках. Глаза Мани смягчаются, и пальцы ее тихонько касаются его рукава.

– Милый Марк, поймешь ли ты меня, если я заговорю? Не сочтешь ли ты бредом то, чем полна душа моя?

– Маня... Говори, говори откровенно! Разве я не друг тебе? Разве я не готов всегда строить твое счастье, в чем бы оно ни выражалось – «хотя бы в любви к другому», – хочет он

сказать. – Смолкает внезапно и припадает губами к ее руке.

Но она вряд ли вслушалась в эти слова. Она глядит поверх его головы, странно щурясь, с болезненной тенью улыбки.

– Помнишь, Марк, площадь в Риме? Площадь с платанами?

– Ну?

– Помнишь ты эту женщину в черном, с глазами, горевшими как угли, и ее улыбку, полную презрения к нам?

– Помню, Маня, – медленно говорит он. – Что же?

Она слабо улыбается и долго молчит.

– Я думала, Марк, что ты поймешь меня с полуслова. Прости, мне ничего не хочется объяснять. Почему мне казалось, что и так все понятно?

– Постой, погоди! Между нею, той женщиной, и вот этой, – он ударяет пальцами по газете, – есть, очевидно, какая-то связь... и там тоже... то, что ты видела третьего дня... Постой, постой! Я хочу уловить общую идею...

– Она улыбалась, Марк. Она улыбалась и любила. И все-таки шла на смерть без страха, как и он...

– Неужели ты можешь оправдывать эти жестокости? Все ужасы террора? Я не узнаю тебя, Маня.

– Нет. Не террор! Я не оправдываю жестокостей. Я хочу только понять...

Она вдруг садится на софе. Берет его руки в свои и сжимает их с нервной силой.

– Скажи мне, в чем их вера? В чем их сила? Ведь это дети.

Почему же у них столько презрения ко всему, что ценно для нас? Значит, они ждут другой жизни и других ценностей? А мы? Мы? Если они безумцы, то можно жить по-старому, И плясать, и надевать бриллианты, и кататься на автомобиле, и жить для Красоты. Ложиться спокойно и вставать безмятежно. И любить тебя, любить Нину. А если...

– Что, Маня? Что? Говори же...

– А если они правы, Марк? И безумцы не они, а мы? Если преступники не они, а мы? Мы все, живущие безмятежно изо дня в день, среди всего, о чем слышим и что видим?

Он молчит. Теперь не она – он крепко держит ее за руки. Но она закрывает глаза, не выдержав его взгляда.

– Ты больна... Для меня это ясно. Здоровый, нормальный человек не может мучиться такими вопросами. Он живет и наслаждается самим процессом жизни, как это ты делала раньше.

– Да, раньше... И даже встреча с Яном не убила во мне радости, стихийной радости жизни.

– И ты об этом жалеешь? Что общего у этого светлого строителя будущей прекрасной жизни с этими безумцами?

– Во всяком случае, больше, чем с нами.

– Довольно! Я не могу выносить такого положения. Мы едем завтра, вдвоем...

Он звонит. Она садится на софе.

– Почему вдвоем? А Нина?

– Тебя нужно удалить от всех забот и дразг. Входит гор-

ничная.

– Вы уложите два кофра для madame с ее бельем и платьями... Самое необходимое. Позовите госпожу Кеслер!

Они опять одни. Маня встает.

– Я не поеду без Нины. Я не могу жить без нее! Какая это свобода, когда беспокойство за нее будет отравлять мне дни и ночи? И потом..., «какое это одиночество вдвоем?» – хочет сказать она. Но смолкает, закусив губы.

Однако он понял. Его брови хмурятся. Она подходит и прижимается к нему.

– Ах, Марк! Друг мой, не сердись! Отбрось мелочность в эти минуты! Если б ты знал, если б ты заглянул в мою душу! Все рушится. Я стою над пропастью, на узком мостике. И чувствую, как доски гнутся подо мною. Этот мостик... Нина...

Она прячет лицо на его груди. Он гладит ее голову с горькой улыбкой.

– Берегись, Маня! Я давно предупреждал тебя. Ты опять строишь счастье свое на песке. И первая волна его смое.

– Молчи! О, молчи!

– У тебя есть искусство. Это здание стоит на горе. Оно вечно. Иди вверх! Почему ты остановилась?

Маня с горестным жестом качает головой. Ее руки судорожно обвиты вокруг его шеи. Она плачет.

– Кто такой? – спрашивает Штейнбах лакея, нетерпеливо

оборачиваясь от стола, где он перебирал бумаги.

– Этот господин не хочет уходить. Я говорил ему, что вы уезжаете, что вам некогда. Он просит одной минуты разговора.

С жестом досады Штейнбах бросает в раскрытый чемодан нерассмотренную пачку писем.

– Просите.

Он зажигает электричество. Спускает шторы.

«Наверно, опять из русской колонии, с подписным листом в пользу столовой или с билетом на лекцию», – думает он.

Дверь отворяется, и портьера падает за вошедшим.

– Вы? – срывается у Штейнбаха.

– Я...

Вошедший высок, гораздо выше самого Штейнбаха, и очень худ. У него строгое, длинное лицо, такое худое и изможденное, что даже морщины покрывают его виски и щеки, хотя он еще молод. Глубоко запавшие серые глаза глядят пристально, холодно, почти сурово. Бледные губы стиснуты с выражением несокрушимой силы и упорства. И даже белокурая борода и усы не могут смягчить этих линий. Он одет небрежно, почти бедно.

– Вы не ждали меня, Марк Александрович?

Голос у него глухой, как у слабогрудого, немного высокий по тембру.

– Извините, я помешал вам?

– Пожалуйста, пожалуйста... Садитесь!

Штейнбах идет к двери, открывает ее, зорко оглядывает соседнюю пустую комнату и запирает дверь на ключ. Ему известно, что он так растерялся в первое мгновение.

– Поверьте, Марк Александрович, если бы не крайняя необходимость...

– О, ради Бога, не извиняйтесь! Я весь к вашим услугам, как и всегда.

– Прежде всего, – слабая тень улыбки скользит в серых глазах, – передаю вам привет от *нее*...

– От Надежды Петровны? – радостно срывается у Штейнбаха. – Неужели она здесь?

– Только вчера приехала.

– Значит, удалось?

– Блестяще...

– Я рад, Ксаверий, – Штейнбах взволнованно встает и ходит по комнате. – У меня гора с плеч упала.

– Разве вы боялись ответственности?

– Нет! Чего же бояться мне? Особенно здесь. Я боялся только за нее. Обидно, что мы не свидимся! Я вечером выезжаю на две недели. Или, может быть, она останется в Париже?

– Нет, здесь ей жить нельзя, после этого случая... на Елисейских полях...

С мгновение они молчат, глядя друг другу в зрачки.

– Я тоже должен исчезнуть. Хотел бы поехать с ней в Италию, хоть на месяц. Ее здоровье расшатано.

– Еще бы!

– Вот я пришел к вам с просьбой ссудить ее...

Штейнбах не дает ему договорить и берется за бумажник.

В дверь стучат.

– Кто там? – тревожно срывается у Штейнбаха.

– Это я, Марк. К тебе нельзя?

Лицо Штейнбаха светлеет.

– Не тревожьтесь, Ксаверий. Это Marion...

– А! – срывается у гостя глухое восклицание.

Маня входит, одетая на гулянье. В комнате запахло духами.

Она жмет руку Штейнбаха, оглядывается и вздрагивает.

Они опять стоят друг перед другом, как тогда, в толпе. И серые, запавшие глаза скорбно и странно глядят в ее душу.

Она чувствует, что он ее узнал. Она это чувствует.

– Marion... Ксаверий...

Тот делает быстрый жест.

– Достаточно. Меня не зовут иначе.

– И я могу вас так звать? – робко спрашивает Маня.

– Пожалуйста.

Он говорит это без тени улыбки, по-прежнему строго и холодно изучая ее лицо.

– Мы уже уложились, Марк. Все готово.

Опять стучат. Брови Ксаверия хмурятся. У Штейнбаха срывается жест нетерпения. Он выходит из комнаты.

– Monsieur, votre oncle vous demande, monsieur...

– Je viens tout-à-l'heure...²⁷

Он возвращается и говорит с порога:

– Дядя беспокоится, Маня. Его волнует твой отъезд. Зайди к нему потом. Я сейчас вернусь. Поговорите... Это друг Яна... Кстати, как идет его книга?

– Почти вся разошлась...

– Неужели? Что же вы думаете? Новое издание?

– Об этом я тоже хотел просить вас, Марк Александрович.

– Да, да. Сейчас вернусь. Они остаются вдвоем.

Друг Яна. Вот этот? С его лицом аскета и взглядом Савонаролы²⁸. Возможно ли? Ксаверий тоже заметно изумлен.

– Откуда вы знали Яна? – глухо спрашивает он.

– Он жил в имении Марка под чужим именем. Я его знала живым и... видела мертвым.

– Но кто открыл вам его партийное имя?

– Он сам.

Легкое движение срывается у Ксаверия.

– Смею спросить... почему?

Маня поднимает ресницы. И ее огромные глаза вдруг как бы заслоняют перед ним все ее лицо. Только их видит он в эту минуту.

– Мы любили друг друга...

Она отворачивается и комкает конец газового шарфа.

²⁷ – Сударь, вас спрашивает дядя... – Сию минуту иду... (*франц.*).

²⁸ Савонарола Джироламо (1452–1498) – проповедник, религиозно-политический реформатор во Флоренции. «Взгляд Савонаролы» – взгляд фанатика.

– Так это вам посвящена глава: *«Девушке, светлой и радостной, как утро»!*

– Мне...

Они молчат. Тишина нарушается только потрескиванием дров в камина.

Вдруг Ксаверий тихо говорит:

– Вы непохожи на этот образ. Вы были другой тогда?

Маня порывисто вздыхает, как человек, который долго плакал.

– Да, я была другой.

– Незнакомой, – подхватывает Ксаверий. – Быть может, бедной?

– Да, да. Никому неизвестной, бедной девочкой была я тогда. В чужом доме, без родителей. Без цели в жизни. Без честолюбия. Но я была счастлива тогда...

– А теперь?

Опять взмахнули ее ресницы, и он видит огромные глаза. С тоской и тревогой глядят они куда-то вверх, выше его головы.

– Чего же не хватает теперь для вашего счастья? – тихо, точно во сне, говорит Ксаверий, еле двигая тонкими губами и как бы пронизывая ее взглядом. – Вы богаты, популярны. Все газеты полны вашим именем. Во всех витринах красуются ваши портреты. Какие серьги на вас!

Она слушает. Слушает напряженно этот тихий голос. Точно тонкой струйкой холода тянет на нее от этих слов, от этих

глаз.

– Вы меня видели на сцене? – вдруг отрывисто спрашивает она.

Слабая краска покрывает его щеки. Не улыбка опять, а только тень ее бежит по его лицу и сбегает мгновенно.

– Какой странный вопрос! Разве наши театры доступны таким, как я? Разве мы с вами не люди с разных планет, столкнувшиеся тут случайно?

Ноздри Мани вздрагивают. Она встает и делает несколько шагов по комнате.

– Вы отрицаете искусство, господин... господин Ксаверий?

– Просто Ксаверий. Для меня и миллионов таких, как я, оно пустой звук. Ян хорошо говорит об этом в своей книге. Чем артист талантливее и прославленнее, тем он дальше от народа.

Маня подходит к столу и нервно перелистывает книгу в дорогом переплете с золотым обрезом.

– Покажите мне, где это место? Где он это говорит?

Ксаверий встает и наклоняется над столом. Теперь они рядом. Их руки бегло соприкасаются. Но разве он не прав, говоря, что между ними пропасть? И что они люди, говорящие на разных языках?

– Вот эта страница: «Об искусстве». Вы... читали книгу Яна?

– Да.

– Вы ее плохо читали. И Штейнбах тоже, хотя он сделал ее своей настольной книгой. Но это роковая судьба всех писателей, особенно таких, как Ян. Их читают. Ими восторгаются и... продолжают жить, как жили... Марк Александрович строит в Петербурге театр-студию, чтоб развлекать благородную публику. А девушка, радостная, как утро, отдает этим людям весь свой талант.

Лицо Мани заливает румянец. Она надменно вскидывает голову. Их взгляды встречаются, ее – полный глухой враждебности, его – полный презрения. Да, да. Презрения. Она это сознает прекрасно. Да он и не хочет этого скрывать!

– Отрицать искусство – значит быть варваром! Значит идти назад. Искусство не знает ни цели, ни этики... Из-за того, что оно недоступно массам, оно не теряет своего значения. Вы... толстовец?

Он опять слабо улыбается.

– Зачем ярлыки? Я вам отвечу. Народ нуждается в искусстве и радости не меньше, чем так называемая интеллигенция. Но, как и все в наше время, эти радости выпадают на долю богатых, минуя бедняков. Почему вы думаете, что им нужен только хлеб, только труд? И не нужны поэзия и красота? И вы напрасно оскорбляетесь моими словами. Если Ян не ошибался в вас, если вы действительно девушка, которой он посвятил труд своей жизни, то вы... бессознательно, быть может, но уже чувствуете правду моих слов. Подумайте об оправдании вашей жизни!

– Что такое? Что вы сказали? Он повторяет тихо, но упорно:

– Подумайте об оправдании вашей жизни.

Она молчит одно мгновение, ошеломленная, словно ослепшая.

– Какой вздор! Это сектантство! Я живу... Разве этого не довольно! Какое нужно для этого оправдание? Разве цветок не вправе цвести, а птица петь? – Она взволнованно ходит по комнате. – Каким мраком и гнетом веет от ваших слов! Ян не говорил мне об этом.

– Вы были незаметной девочкой без таланта. Цветком или птицей. А кому дано много, как вам...

– Тот, по-вашему, должен быть слугою всех? – запальчиво перебивает Маня. – Артист свободен...

– Неправда. Он раб толпы. И не вправе презирать ее.

Слова протеста вдруг замирают на ее устах.

Вытянув руки, сцепив пальцы, она смотрит в одну точку с тем выражением, которое так пугает Марка и Агату.

Разве не той же дорогой ошупью во мраке шла ее собственная мысль?

Штейнбах входит. Странное выражение лица Мани бросается ему в глаза. Она быстро опускает вуалетку.

– До свидания, Марк Александрович, – говорит Ксаверий, подходя. – Благодарю вас за Надежду Петровну!

Маня подает Ксаверию руку.

– Если я была резка с вами, простите, – упавшим голосом

говорит она. – Я совсем невменяема эти дни.

Вдруг она видит его улыбку, вернее, тень улыбки.

«Разве ты можешь обидеть меня?» – говорит это лицо.

Рука Мани опускается. И даже губы ее белеют.

Он с порога кланяется ей.

Портьера падает за ним.

– Я только провожу его, – говорит Штейнбах. – Подожди.

Когда через десять минут он входит в кабинет, она стоит все в той же позе, у окна, раздвинув шторы и глядя в сумрак. Лицо у нее болезненное. Глаза пустые. Белые губы стиснуты с горечью.

Письмо Мани к Гаральду

Тироль

Гаральд, я вас не знаю и никогда не видела вашего лица. Еще вчера ей были ничто для меня. Как же случилось, что сегодня ей заняли такое большое место в моей душе?

Вчера опять я стояла на распутье... Жизнь – Сфинкс, со всем, что есть в ней мрачного, – с самодовольной наглостью победителей, с рабством и нищетой побежденных, – уже не в первый раз встала передо мной и задала роковой вопрос: «Кому ты служишь?»

Ответ для меня был только один: «Я служу ликующим».

И этот ответ подрезал крылья моей слабой души. Остры были ступени, по которым я шла вверх эти годы, стараясь не думать, не оглядываться. Но я упала и разбилась. И, задыхаясь в пыли большой дороги, я говорила себе: «Теперь конец. Жить уже нечем...»

Я прочла вашу «Сказку». Она долго искала меня.

Как полуослепший от мрака узник сквозь случайную расщелину в стене вдруг видит горы, море и простор небес, так сквозь призму слов вашей «Сказки», за стенами чуждого мне отныне долга, мне снова открылись свободные дали творчества.

Вы избранник, Гаральд! В вашей власти из бледных слов творить нетленные образы, неведомые Жизни, но более яркие, чем она. Что в сравнении с вашим чудным даром мой скромный талант плясуньи? Как тени, исчезающие бесследно с экрана, исчезну и я из памяти людской, сойдя со сцены. Ваши стихи будут жить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.